

Сергей Волконский

# Родина



Мои воспоминания

Сергей Волконский  
**Родина**

«Public Domain»

1923

## **Волконский С. М.**

Родина / С. М. Волконский — «Public Domain»,  
1923 — (Мои воспоминания)

«Какое сложное понятие и, несмотря на сложность свою, какое сейчас неуловимое. Мы любим родину, – кто же не любит родины своей? Но что мы любим? Что? То, что было? То, что есть? Нет. То, что будет? Мы не знаем. Страну нашу? Где она? Клочки одни. Народ наш? Где его лицо? За темнотой лица не видать. Думы нашей земли? В чем они выражаются? Голос нашей земли? Где он звучит?..»

# Содержание

От автора	5
Глава 1	6
Глава 2	16
Глава 3	27
Глава 4	39
Глава 5	50
Конец ознакомительного фрагмента.	54

# Сергей Волконский

## Родина

### От автора

*Родина!* Какое сложное понятие и, несмотря на сложность свою, какое сейчас неуловимое. Мы любим родину, – кто же не любит родины своей? Но что мы любим? Что? То, что было? То, что есть? Нет. То, что будет? Мы не знаем. Страну нашу? Где она? Ключки одни. Народ наш? Где его лицо? За темнотой лица не видать. Думы нашей земли? В чем они выражаются? Голос нашей земли? Где он звучит?

И тем не менее называю эту третью часть моих воспоминаний – «Родина». И когда кончу, тогда видно будет, из чего составлено это понятие. Видно будет потому, что буду говорить с искренностью. Не буду стараться *составлять* понятие родины, а предоставлю тому, кто меня будет читать, – *вывести* его.

И если отдельные выводы тех, кто прочитает, окажутся соответственны душе каждого и соответственны между собой, тогда это соответствие и слияние этих соответствий и будет наша Родина. Она будет не реальна, но она будет сильна в своей метафизичности; она не будет вне нас, но тем сильнее будет в нас; она лишится узости земных границ и получит беспредельность личного сознания.

И если, отрешаясь от земных условий, от привязанности к месту, мы в творческой памяти воссоздадим то, чего нет; если в тех горних высях, куда укрылся наш дух, сознание наше подернется влагой бесполезных сожалений, мы скажем вместе с поэтом: «Нет у нас родины, нет *нам* изгнания» – и на ровной поверхности когда-то возмущенно клокочущей души ощутим великое равновесие опрокинутого отражения.

## Глава 1 Фалль

Фалль, дивный Фалль под Ревелем, на берегу моря. Под знаком Фалля прошел расцвет моей детской души, и на всю жизнь «Фалль», звук этого имени, остался символом всего прекрасного, чистого, свободного от реальной тяжести. Он живет меня бодрящей лаской морского воздуха, смолистым запахом соснового бора. Встают в памяти крепкие очертания нависших скал, в закатах пылающее море, зеленый мягкий мох во влажной тени хмурых елок и крепкий серый мох на сухом песке под красными соснами; бурливая, в глубоких берегах река, далеко расстилающиеся долины и холмы разделанного парка; огромные со скорченными ветвями каштаны, тонкие перистые лиственницы; журчащая вода и мшистый камень, в тиши подлеенной приветливая черника, улыбчивая земляника; дорожки, вьющиеся, убегающие, каменными лестницами поднимающиеся, спускающиеся; беседки на горах, над бурливой рекой, над зелеными низинами смотрят на далекое синее море или на холмистую кудрявость лесную, из-за которой розовая башня поднимает свой синее – желтый флаг...

О, этот дом, в котором пахнет деревянную резьбой, сухими и живыми цветами! Приветливая готика, уютная нарядность; дивный вид с террасы, из каждого окна. И все: воздух, свет, запахи, портреты, книги, и тишина, и говор – все укутано немолчным шумом водопада...

Спальня моей бабушки выходила окном на водопад. Мебель готическая, белая с черным; ситец светлый с красными цветочками; портреты, вазочки, воспоминания. По всему Фаллю прошлое к вам прикасается, ласково окликает. Из спальни тут же выход в маленькую восьмиугольную башенную комнату – миниатюры, бюро с вензелем императрицы Марии Феодоровны, ее портрет пастелью, писанный в Версале, и чудный вид на внизу шумящую и пенящуюся реку, на дальний парк и сквозь просеку светящееся море. Море сияет далеко, река шумит глубоко, а окно высоко, и между ними воздух и пространство...

Встают картины детства... Мне три года. На ступенях каменного крыльца старая старушка англичанка: мисс Смит, гувернантка моих теток, двоюродных сестер матери, показывает мне, как пальцы складывать, чтобы выходил домик; указательный опускается и образует прилавок, мизинец – лавочник, и два больших пальца – покупатель... В низком кабинете, во флигеле, в глубоком кресле старец с белой бородой, в черном бархатном халате курит длинную трубку: мой дед декабрист... Дядя Петр Григорьевич Волконский, брат моей матери, посадил меня на лошадь и водит вокруг круга; мне боязно. После второго круга снимает меня, спрашивает: «Ну, как?» – «Не совсем ловко...»

Купанье в море! В тележке гурьбой, на сене, покрытом полостью: в тележку запряжен или Фалль, или Ястреб – низкорослые лошадки, темно – бурые, а хвост и грива белые... Лесом едем. Поперек дороги корни; трясемся, смеемся. Лошадью пахнет в пахучем лесу... Вот последний пригорок, и за ним обдаст нас шум морской. Спускаемся под гору; колеса в песке вязнут; серая морская трава по бокам дороги. Раздеваемся в дощатом «купальном домике»; босиком по песку вприпрыжку через колючую траву в воду! Волны набегают, обдают. Гладкое песчаное дно, ровное, крепкое. Иногда под подошвой легкое щекотанье – то маленькая камбала высвобождается из-под ноги. Никогда уже нигде я не мог после этого купаться – только море или океан; ни реки, ни пруда не выносил, не мог выносить, чтобы нога уходила в мягкое, вязкое, – это противоречило аристократичности первых впечатлений...

Однажды после купанья мне сделалось дурно; брат с гувернером вывели меня из домика на воздух. Я лишился сил; я лишился сознания, но все время слышал шум моря и

ветра. Когда возвращался в сознание, это было постепенно, и в этой постепенности был один блаженный миг – перед полным возвращением. Чувство недомогания прошло, шум волн прибывал к моим ушам, теплый ветер ласкал мое голое тело, трава колола ноги – я чувствовал свое бессознательное слияние с природой. И всегда впоследствии, вспоминая этот миг, я думал, что и корова, наверное, знает, что такое счастье... Возвращение с купанья – пешком; губы и пальцы синие от черники... По дороге в лесу огромный камень; обчистили его однажды от мху, и все дети захотели высечь на нем свои имена. Принесли молотки, долота, но работа оказалось не так легка, как детям казалось...

В Фалле пробуждается любовь к надписям, к закреплению в камне; там несколько памятников. Большая глыба камня над высоким берегом пруда увенчана шлемом, щитом и мечом; памятник поставлен отцом моей бабушки, основателем Фалля графом Бенкендорфом своему брату Константину. Последние слова надписи: «Он кончил службу, кончив жизнь». В Фалле привыкаешь надписи читать. Много в саду чугунных скамеек: знакомые, кто приезжали, дарили на память скамейку со своим гербом и просили поставить на любимом месте. Читать девизы этих гербов, – какое развлечение! Тут цветы и земляника, а тут же латинская надпись. «Pro fide et patria» («За веру и отечество») были мои первые латинские слова... Рано вливался романтизм в мое душевное настроение...

Вечер, сумерки, ламп еще не зажигали. Бабушка на своем Эраре играет – грустно, протяжно, а все-таки как-то утешительно. Слушаю в блаженной полудреме; в левой руке жалоба как будто повторяется... Как-то раз она сказала, что это называется вальс, что это сочинил Шопен какой-то. Но тут я еще не знаю, что это, и сижу я не в гостиной, а в соседней, «колонной», комнате. В большие окна смотрит белый вечер северной весны. Что-то застылое в природе – туда не хочется. Как-то смиренно там, за окном. Только самые верхние листочки на деревьях трепещут, темные против белого неба. Большой каштан, тяжелый, вырисовывается над обрывной пустотой; его посадила, говорят, старая тетка Захаржевская, тетка моей бабушки; она иногда гостит в Фалле, она такая же большая и тяжелая, как ее каштан; она курит особенные папироски из соломы: пахитоски называются; от нее хорошо пахнет...

Там под обрывом растут те красные цветы метелкой, про которые мать рассказывала, что, когда она была маленькая, ей ее бабушка говорила, что, когда она была маленькая, ей одна древняя старушка говорила: «Всякий раз, что увидишь этот цветок, вспомни обо мне». И я всю жизнь, когда его видал, вспоминал и мою мать, и прабабку графиню Бенкендорф, которой никогда не видал, и древнюю старушку, которой имени не знаю. И еще на днях, в июне 1921 года, в садике одного дома на Сивцевом Вражке увидел я этот цветок и мыслью пролетел от нашего двадцатого столетия сквозь девятнадцатое в восемнадцатое, когда древняя старушка говорила маленькой моей прабабушке, чтобы помнила ее...

Те цветы под неприступной крутизной или внизу у воды; к ним надо снизу подходить, а здесь, в «колонной» комнате – между колоннами и на окнах жардиньерки с тепличными цветами. Какие среди них красивые – как глубокие рюмки, лиловые и темно – малиновые; говорят, глоксинии зовутся. Старик садовник в прошлый раз брал лист глоксинии, разрезал пополам и каждую половинку листа втыкал в ящик с песком, и через несколько дней каждый кусок листа давал корень вниз и росток вверх. У старика садовника Риу внучка и внук, Валли и Рихард; мы с ними играем; один камень большой около пруда я назвал «Wally's Stein», а мать мне сказала, что это напоминает одно очень знаменитое имя...

На дворе совсем уже застыло все, недвижно, как стеклянное; только снизу, с долины, туман поднимается. Там, на той стороне реки, на лужайке под горой стоит из бронзы человек – Аполлон называют его; не видать, на чем он стоит, – облака у ног его, он точно на небе или небесный на земле... Я прильнул к окну, – холодное. Красиво терраса убрана цветами; но все стеклянное, без трепета. И сколько лет уже с террасы белокаменные львы вперяют недвижные очи в недвижные ночи...

А у бабушки в левой руке жалоба продолжается, но такая покорная. А на меня смотрит с окна большая мраморная дама с покрывалом; под ней на бронзовой доске написано, что это императрица Мария Феодоровна, «благодетельница всех и наша».

Вносят лампы. Больно, неприятно; все рассыпалось. Но и чай готов в столовой. Длинный – длинный стол, и простокваша, и чухонский серый хлеб «сэпик». В большой столовой на полках много старого серебра – кубки, ковши. А на стене, над буфетом, висит картина, изображающая древнюю старушку: и положила голову к ней на колени маленькая девочка в рубашечке. Это портрет женщины, которую прадед мой, граф Бенкендорф, спас во время наводнения, воспетого в «Медном всаднике», а девочка – сестра моей бабушки, впоследствии княгиня Кочубей, владелица Диканьки... Тогда-то я этого еще не знал, но то, что узнаешь впоследствии, как-то просачивается в прошлое, и даже когда мы думаем о тех, кого нет, мы видим их в прошлом умершими. Трудно разграничить в памяти моменты знания, уловить ту точку, в которой кончилось «не знаю» и начинается «знаю», ту точку, когда именно было: «узнал»...

Много я *узнал* в Фалле, без усилия, без чтения – благодаря Фаллю, из внутреннего соприкосновения с внешними предметами, из того, что создавали вокруг нас мельком брошенное замечание бабушки или матери, рассказ, воспоминание, вздох или усмешка...

В «колонной» комнате стояло длинное старое фортепиано, несуразное и с совершенно стеклянным звуком; но его берегли – оно было под стать всей прочей готической мебели, и за ним пела, так говорили мне, знаменитая певица Зонтаг, в замужестве графиня Росси; она проводила лето в Фалле; в парке есть и скамейка ее имени. На этом неуклюжем фортепиано вечерами я с матерью сперва учился, а впоследствии играл в четыре руки; переигрвали Гайдна, Моцарта, Бетховена, Вебера – каким стеклянным звуком и по каким старомодным изданиям!.. На этом же фортепиано играл однажды пасторальную симфонию с великим князем Константином Константиновичем, впоследствии К. Р., который кадетом приезжал в Фалль с прочими учениками Морского училища.

Несколько раз приезжали к нам кадеты. Как это было весело! Корвет «Варяг», клипер «Жемчуг» бросают якорь перед Фаллем; шлюпки на воду, а мы уже давно заметили, бежим навстречу. Высаживается человек семьдесят – кадеты, офицеры, а впереди адмирал Брылкин. Начинается гулянье, катанье, а дома готовят угощение; кадетам под каштанами, а адмирал, в эполетах, с лентой через плечо, ведет бабушку к столу в столовую... Они платили нам за гостеприимство: мы ездили к ним в Ревель, жили на военных судах; в Балтийском порту видели маневры с пушечной пальбой. Раз вернулись из Ревеля на парусной шхуне «Компас».

Никогда не забуду одного пробуждения. Я спал в каюте на «Варяге» сладким детским сном. Какой-то грохот пробуждает меня, и, прежде чем успеваю сообразить, что это барабанный бой, я погружен в тихое блаженство хорового пения: на палубе команда поет «Отче наш»; и в окно каюты ослепительное серебро морского отражения шлет лучи победного светила. О пробуждение! Вы любите утреннее пробуждение? Возглас Брунгильды: «Heil dir, Sonne, heil dir, leuchtender Tag!» Пробуждение! Залог будущего, залог того, что прошлое не прекратилось, залог возобновления и обновления. У какого-то француза читал: «Пробуждения детства торжествующи, пробуждения зрелого возраста унылы, пробуждения старости мрачны». Нет, не заметил я на себе этих разниц; и посейчас еще торжествую, когда утром просыпаюсь, и посейчас вскакиваю, потому что радостно день начинать, а в особенности когда хорошая погода или на столе рукопись начатая дожидается. Но такого пробуждения, как тогда на «Варяге», не помню.

Морская жизнь полна живописности, а эта морская живописность, вливающаяся в фалльскую живописность, – какая красота... Когда они уходили в море, вдруг пустело... Я сидел в «колонной» комнате и считал квадраты на паркете шашкою из дуба и черного дерева... А бабушка рассказывала, что вот у этой двери, когда она была девочкой, стоял и

водил смычком по своему Маджини знаменитый Львов, автор «Боже, царя храни»; и его скрипка звучала как оркестр. Он был адъютантом моего прадеда Бенкендорфа и сколько хороший музыкант, столь хороший инженер. Есть в Фалле через реку Львовский мост: один пролет покоится на железных стержнях, которые концами уходят в берега; легкость удивительная. Николай I, когда увидел этот мост, сказал: «Львов через реку перекинул свой смычок».

С северной стороны дома, на лужайке, – роща, каждое дерево которой обнесено решеткой с надписью. Это деревья, посаженные членами императорской фамилии, начиная с Николая I.

В 1871 году приезжала в Фалль цесаревна Мария Феодоровна. Как запомнились мне подробности этого посещения. В шесть часов утра приехали два барона, Мейендорф и Буксгевден, предупредить, что цесаревна приедет из Гапсаля к двенадцати часам; с ней свиты человек шесть. Мать моя поднялась и за собой подняла весь дом. Все закипело, заработало; когда бабушка проснулась, ей только сообщили, что все готово к приему высокой гостьи. Помню, что послали на башню какого-то эстонца сторожить, с тем чтобы уведомил, как только он завидит экипажи по дороге. Но этот пентюх не понял возложенного на него поручения или, вернее, понял его так, что он должен махать, когда завидит. И вот он на башне неистово махал, в то время как мать с бабушкой спокойно разговаривали в гостиной. Уже показалась в воротах коляска с казаком на козлах и за ней другая, когда я побежал в «колонную», чтобы запыхавшимся голосом крикнуть традиционное: «Едут!» Мать оказалась на нижней ступеньке крыльца, когда цесаревна выходила из коляски. Они поцеловались, потом цесаревна поцеловала бабушку. Приехали с ней: гофмейстерина княгиня Юлия Феодоровна Куракина, фрейлина графиня Апраксина, фрейлина императрицы Марии Александровны Жуковская, дочь поэта, генерал Стюрлер, князь Суворов и секретарь цесаревны Оом. Хорошо помню платье цесаревны – серой парусины, отделанное полосой красного бархата под кружевной прошивкой. Помню, у матери было белое легкое летнее платье и шляпа кружевная с листьями и черными ягодами; бабушка была в сером шелковом.

Пока гости пили чай, мы, дети, в саду около дома ждали выхода: неужели они пойдут гулять, а нас не позовут? Вышло все общество с террасы: впереди моя мать с цесаревной, а бабушка осталась дома. «Сережа! Петя!» – кликнула мать. Вмиг мы выбежали и, как два пажа, очутились за цесаревной. Пошли дорожками вниз, перешли через Львовский мост, поднялись к старой развалине над крутым берегом реки; спустились к другому мосту, который дети называли «длинный мост», хотя он был не длин – нее, а только уже прочих; поднялись к «царской беседке» с бюстом Николая I в память его посещения и оттуда пришли к воротам, которые ведут в лес, где нас ждали экипажи для катания по парку.

Цесаревна была мила, в радостном, почти детском настроении духа. Она рвала цветы направо и налево от дороги; но вдруг увидела землянику – вот уж прямо как ребенок обрадовалась. Заметив это, мы с братом стали рвать землянику и подавать ей. Очень нас поразило, что она съедала все ягодки, даже самые зеленые... Когда мы сходили по крутой дорожке, что ведет от «царской беседки», я услышал, что она спросила мою мать (они говорили по-французски):

- Вы его не видели?
- Нет еще.
- Я вам его покажу.

Она остановилась и стала раскрывать под шеей медальон. В перчатках, без зеркала трудно было; мать моя помогла:

- Вы позволите? – раскрыла медальон и воскликнула: – Какой красивый мальчик!
- Кто это, мама? – спросил я.
- Это мой сын, – сказала по-русски цесаревна.

– Это первые русские слова, которые я слышу от вас, – сказала моя мать.

Когда подошли к экипажам, мать с цесаревной сели в первый двухместный шарабан, остальные расселись в трех других шарабанах. Мать взяла вожжи и кивнула мне, чтобы я сел на задние козлы. Мы поехали. Какой нарядный звук – звук колес по мелкому гравию. Фалльский парк огромный; в нем пятьдесят четыре версты дорожек. И как разнообразно: по берегу моря, сосновыми рощами, по зеленым лугам, вдоль реки, над рекою, спуски и подъемы. Я не знаю ничего, что мог бы сравнить с фалльским парком по красоте и прелести...

Цесаревна очень восхищалась, то и дело просила остановиться, чтобы любоваться видом или нарвать цветов. У нее на коленях, когда мы отъехали, лежала синяя кофточка с бронзовыми пуговками с якорями. Мать взяла кофточку, положила мне на колени для хранения. Я заметил в кармане запечатанный конверт с красивым вензелем; ужасно мне захотелось увидеть ее почерк, а также – кому адресовано письмо. Всю дорогу меня мучило это желание. Но я не посмел перевернуть конверт. Почерк императрицы я впоследствии видал, но кому было адресовано то письмо, останется навсегда неразгаданною тайной...

Когда приехали домой, был обед. Мы, дети, в этот день обедали в доме управляющего, Лильенкампа... После обеда цесаревна лопатую, которой сажал свою березу Николай I, посадила каштан. Когда она очищала свои перчатки от земли, мать вынула у меня из кармана носовой платок и им обтерла ей руки.

Вот все, что могу припомнить. Конечно, после отъезда было много разговоров, делились впечатлениями дня. Заметил, что когда говорили о Жуковской, то как-то понижался тон; мать сказала: «Она, бедная, конечно, садилась отдыхать на каждую скамейку». Много, много лет спустя я узнал, что она в то время была беременна от великого князя Алексея Александровича, что только за несколько дней перед тем они просили императрицу разрешить им повенчаться, но разрешения не получили. Она родила сына Алексея, который получил фамилию графа Белевского. Хотя я в то время ничего не понимал, но это-то я понимал, что не надо спрашивать старших, о чем они говорят, когда они говорят этим тоном. Только почему старшие не могут подождать, чтобы дети ушли, если им хочется говорить о таких вещах, о которых дети не имеют права переспросить?.. Вечером того же дня – сейчас вспоминаю, что это было 10 июля 1871 года, – когда мы с братом ложились спать, пришел к нам в комнату старый дворецкий Николай Рыбаков поделиться и своими впечатлениями. Он говорил вполголоса, трагическим шепотом:

– А какое упущенье!..

– Что такое?

– А все Эдуард виноват. (Это другой слуга.)

– Да что же случилось?

– Да ведь мы с ним уговорились, что он будет вилами и ножами заведовать, а он вот какой оказался недосмотрительный.

– Что же?

– Обнес я горошек. Смотрю: цесаревна не ест; на тарелке горошек, а сама не ест. Что, думаю, такое? Гляжу: а вилки-то у нее нет. И ведь не спросила, – вот какая нежная!

Это была единственная задоринка в церемониале этого сложного дня.

В Фалльском доме, таком светлом, приветливом, есть одна комната, в которую мы, дети, входили с некоторым страхом, – мрачная, молчаливая, в которой никогда никто не сидел. Это был кабинет моего прадеда Бенкендорфа. Перед большим письменным столом большое с высокой спинкой кресло; на столе бронзовые бюсты Николая I, Александра I, родителей Бенкендорфа. Вообще много бронзы – модели пушек, в маленьком виде памятники Кутузову и Барклаю де Толли; пресс – папье – кусок дерева от гроба Александра I, обделанный в бронзу, увенчанный короной. Много портфелей с гравюрами, планами; высокие шкафы с книгами, медали в память двенадцатого года. «Царей портреты по стенам».

Висела там известная акварель Кольмана – декабрьский бунт на Сенатской площади: бульвар, генералы с плюмажами, с приказывающими жестами, солдатики с белыми ремнями по темным мундирам, и в пушечном дыму памятник Петра Великого. Как любопытно думать, что стоял перед этой картиной, смотрел на нее мой дед декабрист, когда по возвращении из Сибири проводил лето 1863 года у тещи своего сына... В этой комнате все вещи как-то особенно молчали. Там пахло стариной, большей давностью, чем в остальном доме; там всегда хотелось спросить кого-то: «Можно?» А между тем там никогда никого не было. Из единственного окна виден водопад; на той стороне реки, на горе сквозь деревья виднеется «изба» – дачный домик, который одна старушка, баронесса Милинька Саккен, называла «das Schweizerhaus im russischen Stil» (швейцарский домик в русском стиле).

Милинька Саккен! Какое дальнейшее воспоминанье! Ближайшая соседка Фалльская. По ревельской дороге в шести верстах большой белый казарменный дом с двумя пузатыми башнями по концам – Фена называется. Там она жила, незамужняя тетка владельца Штакельберга, и вела его хозяйство, сочетая предписания бережливости с поползновениями знатности. Маленькая, с красным носом на сморщенном лице, держалась прямо, с отменной выработанностью форм общежития: каждому поклон, каждому привет, каждому подобающее слово. Ее входы и выходы, приезды и отъезды, это были своего рода церемониалы. Распечатав приветствия, как бы раздавая себя, она в то же время высоко держала голову, увенчанную невероятно большой прической, в которой были и локоны, и ленты, и сетка, и банты. Никогда не видал ее иначе; она говорила, что с утра одета так, что может принять императора. Она своеобразно говорила по-французски. Так, она сидела на балконе своего казарменного дома, глядела на большую дорогу, ожидая возвращения посланного из Ревеля; но она называла его не посланным, а «вестником» – «le messenger». Штакельберг занимался молочным хозяйством; желая похвастать тем, что цены на молоко у ее племянника растут, она сказала: «Et chez Ernst le lait monte toujours» (А у Эрнста молоко все поднимается, то есть что по-французски говорят о кормилицах). На одном из окон в Фалле стояла маленькая бронзовая статуэтка – Меркурий Джамболонья; как известно, юный летящий бог без всякого прикрытия. Милинька Саккен называла его «la petite danseuse» (маленькая танцовщица). Она иногда страдала одышками, кровь ударяла ей в голову; она называла это «des bouffons» («шутники», вместо «bouffees»).... Сколько образов прошло через детство; прошло и кануло туда, в темную пучину прошлого... Вспомнил о Милиньке Саккен по поводу избушки, выглядывающей из-за леса над водопадом. В этом лесу, далеко от дома, на горе фалльские могилы.

Дивное место. На полугоре как бы природная терраса; книзу спускается зеленый луг, по бокам его лес, впереди, внизу за лугом, тоже лес, и за этим лесом море. Сзади гора и наверху горы огромный деревянный крест. Бабушка говорила, что крест всегда там был и что однажды, гуляя со своим отцом, она сказала: «Я бы хотела быть похоронена там, под крестом». Граф Бенкендорф умирал на пароходе, который вез его из Амстердама в Ревель. Последние его слова были: «Там наверху, на горе». Присутствовавшие не поняли; уже когда привезли тело в Фалль, бабушка разъяснила. Еще подробность. Прабабка, графиня Бенкендорф, поднималась на башню с подзорной трубой смотреть на прохождение корабля, державшего путь на Ревель мимо Фалля. Она видела корабль, но он нес уже покойника...

Вспоминаю, как они женились. В Харьковской губернии, в старой усадьбе по имени Старые Водолаги, жила Мария Дмитриевна Дунина, урожденная Норова. Сама мать многочисленного семейства, она воспитывала еще двух дочерей своей сестры Захаржевской. Старая наседка, Мария Дмитриевна широко распространяла патриархальное владычество своих мягких, но и крепких крыльев. Дочери, племянницы выходили замуж, но яблочки падали недалеко от яблони: и с каждой новой свадьбой вырастал новый дом. Но к обеду все сходились. Там жили широко, и к обеду закалывали быка. Весь Харьков ездил на поклон в Старые

Водолаги. Однажды приезжает в Харьков высочайше командированный молодой флигель – адъютант Александр Христофорович Бенкендорф (тогда еще не граф). Ему говорят:

- Вы, конечно, поедете к Марии Дмитриевне Дуниной?
- К Марии Дмитриевне Дуниной?
- Как? Вы не поедете к Марии Дмитриевне Дуниной?

Он увидел такое изумление на лицах, что поспешил ответить: «Конечно, я буду у Марии Дмитриевны Дуниной».

Он поехал. Сидят в гостиной; отворяется дверь – входит с двумя маленькими девочками женщина такой необыкновенной красоты, что Бенкендорф, который был столь же рассеян, сколько влюбчив, тут же опрокинул великолепную китайскую вазу. Это была молодая вдова, Елизавета Андреевна Бибилова, рожденная Захаржевская, племянница Марии Дмитриевны Дуниной. Муж ее был убит в двенадцатом году.

Когда положение обрисовалось, Мария Дмитриевна нашла нужным собрать справки. Фрейлина Екатерины Великой, поддерживавшая переписку с императрицей Марией Феодоровной, она за справками обратилась не более, не менее, как к высочайшему источнику. Императрица вместо справок прислала образ. Она хорошо знала Бенкендорфа; он был любимцем царской семьи. Его мать, рожденная Шиллинг фон Канштат, приехала из Вюртемберга с Марией Феодоровной. Екатерина ее не любила и хотела отослать обратно, а Мария Феодоровна выдала за Бенкендорфа, и она осталась в России. Сын ее, Александр Христофорович, будущий граф, шеф жандармов, основатель Фалля, был любимцем царской семьи с ранних лет. Он был пажем у императрицы Елизаветы Алексеевны; в Фалле была табакерка с ее портретом и надписью: «Моему амурчику».

Отец его был знаменит своей рассеянностью. Он был губернатором в Риге. Бабушка рассказывала, что однажды приехал Павел I, и Бенкендорф забыл заказать обед. Посылает к знакомым с просьбой выручить; все поспешили прислать по блюду. Принесли блюда, крытые крышками; когда сняли крышки, – под каждой крышечкой оказался гусь. Это было осенью, и всякий постарался прислать лучшее по сезону блюдо... Конечно, когда бабушка кончила свой рассказ, я спросил, как все дети, когда кончен анекдот: «Ну и что?» Но ответа не последовало. Одни ли дети ставят вопросы? Одни ли детские вопросы остаются без ответа... «Остальное – молчание», – сказал Гамлет, и остальное гораздо больше того, что сказано...

Была у моей прабабки Бенкендорф компаньонка Аделаида Петровна Ковалинская. Я помню приятную старушку, но я не помню ее мать; помню только странные рассказы про ту, которую звали «Старый Ковалек». Армянка по происхождению, шумливая, кипучая. Она всегда сосала леденцы и, насосавшись, вынимала изо рта и заворачивала в носовой платок. Когда вытаскивала платок, чтобы высморкаться, на нем, как присосавшиеся пиявки, висели леденцы. Восторженная, пылкая патриотка, она во время турецкой кампании 1828 года с трепетом ждала всякого известия с театра войны. Томительно долго длилась осада Варны, больше двух месяцев. Наконец поздно вечером – она уже лежала в постели – ей приносят радостное известие: Варна взята. Она вскакивает, как была, в рубашке, кидается в переднюю, надевает калоши на босую ногу, накидывает первое, что попадает под руку, – это была одна из тогдашних лакейских ливрей с бесчисленным количеством воротников, – и в этом наряде бросается по лестнице вниз; выбегает на улицу – жила она в доме армянской церкви на Невском – и стремглав пускается бежать, размахивая руками, с криками: «Варна взята! Варна взята!» Она любила море, ходила в Фалле каждое утро купаться. Любила море, но боялась холодной воды. И вот, чтобы войти в афинские волны, она надевала салоп. Вокруг нее кольцом стояли девушки и, пока барыня, боязливо взвизгивая «Ой, батюшки! Ой, батюшки!» – бережно опускалась в воду, одни девушки поднимали фалды салоп, а другие из кувшинов лили в море горячую воду...

У прабабки моей было два брата, Захаржевские: смутно помню о них. Один был генерал; умер во время парада на площадке перед Зимним дворцом. Его жена – та самая тетушка, которая курила пахитосы. Она была урожденная Тизенгаузен, по-русски говорила плохо; ее русский язык не шел дальше придворных повесток, и то она их своеобразно передавала.

– Ma tante, – спрашивала ее мать моя, – вы поедете ко Двору завтра?

– Ну разумеется. Ведь это один из тех случаев, когда приглашаются все те, кто особого пола. – Так она передавала официальную редакцию «особы обоего пола, ко двору приезд имеющие».

Другой брат моей прабабки жил холостяком в деревне в Харьковской губернии и был ночью зарезан в своей постели. Его родной племянник Николай Похвостнев был заподозрен и умер под этим подозрением. Но на суде выяснилась его непричастность – камердинер покаялся в преступлении...

У Бенкендорфов было три дочери; моя бабушка была средняя. Старшая, Анна, вышла замуж за венгерского графа Аппони. Я дважды навещил старушку в ее имении Ленгвель. В 1842 году покинувшая Россию, она жила далекими воспоминаниями и там, на новой родине, была окружена портретами. В далекой венгерской равнине она хранила память о холмистых долинах, о берегу моря, о розовой башне в кудрявости лесной и о немолчном шуме водопада. В ее рассказах вставала странная Россия, сосредоточенная в Зимнем дворце, Петергофе, Фалле. Большая нарядная игрушка тогдашний Петербург. И все, что тогда строилось, все носило этот характер игрушки, беззаботности. Оставшиеся с того времени памятники, дворцы, павильоны пригаданы для нарядной жизни, за которой как-то не ощущается присутствие практических забот. Николаевская выправка была какою-то военной ширмой, которая отгораживала жизнь и обеспечивала ее спокойное течение.

Вся жизнь была парад, и никогда эту парадность я не ощущал так близко, как в рассказах милой тетушки Аппони. Она хорошо знала тогдашний Петербург, она стояла на виду, она была восхитительно хороша, несмотря на то, что косила, и она обладала редким голосом. Она была первой публичной исполнительницей львовского «Боже, царя храни». Это было в зале Дворянского собрания, на концерте Патриотического общества. Гимн исполнялся в первый раз; пел хор, но раньше хора каждый куплет пела она как запевала. Тетка Аппони намного пережила мою бабушку. Второй раз я навещил ее в 1898 году, за год до ее смерти. Она была слепая, но в восемьдесят четыре года такая же приветливая и живая, как прежде...

Третья дочь Бенкендорфов звалась София и была за князем Кочубеем, владельцем Диканьки. Я ее никогда не видал.

Обо всем этом вспоминаю перед могилами. Не много, пустяк, но и за этот пустяк благодарен скупому прошлому, что так мало отпускает алчущей памяти... Нельзя себе представить более красиво – успокоительное место, чем Фальские могилы. В детстве помню их две – прародители Бенкендорфы. Сейчас, в 1921 году, их восемь. Прибавились: моя бабушка в 1881 году, брат моей матери в 1895–м, жена моего двоюродного брата и ее малолетняя дочь; там же похоронены мои родители – мать в 1896 году, отец в 1908–м.

Образ Бенкендорфа витает над Фаллем, но с его образом вместе какая-то архитектурная официальность, подтянутость николаевского мундира. За романтикой непринужденного дачного житья чувствовался казенный шлагбаум; пока кисейные дамы и барышни вышивали по канве, в кабинет проходили адъютанты и по большой ревельской дороге скакали фельдъегеря. По этой дороге, в полтора верстах не доезжая дома, стоял крохотный розовый домик, в котором адъютанты опраивались с дороги и передевались. Парадность никогда не затмевалась и сопутствовала жизни даже в ежедневных мелочах... Все это, весь этот бенкендорфский Фалль, во мне живет где-то глубоко, в тех недрах человеческого сознания, где живет то, чего мы никогда не видели, в тех закоулках нашего существа, где реальное небытие находит субъективное подтверждение своего метафизического бытия. Не говорите,

что это субъективно. Или нет, именно скажите, что это субъективно, но признайтесь, – ведь субъективность лучшее украшение объекта.

И после этого – другой Фалль; Фалль моей бабушки Марии Александровны. Этот Фалль живет в тех близких верхних слоях сознания, где живет то, что мы видели, знали, любили, так любили, что только с жизнью вместе угаснет любовь и только с любовью вместе угаснет ее свежесть.

Бабушка была самое аристократическое существо, какое я в жизни знал. Тонкая, хрупкая. Вижу ее в белом гладком платье, с белой кисейной косынкой под соломенной шляпой, обстригает розы или кусты. Оттуда любовь моя к деревьям и кустам. Она отлично знала названия, привычки растений. Сколько елок, сколько каштанов переслала она к нам в Павловку, в Тамбовскую губернию! Этих фалльских уроженцев мать моя называла латинским эпитетом *Fallensis*. Сколько любви, ласкового ухода вокруг деревьев и цветов! Когда бабушка находила на дороге кучку сухого конского помета, она протыкала зонтиком и на конце зонтика несла драгоценное удобрение, чтобы сложить его в цветочную клумбу.

Она по-русски плохо говорила. Она принадлежала к тому поколению, которое воспитывалось по-французски, а русский язык воспринимало в девичьей. Так выходило, что, тончайший цвет аристократизма, бабушка, говоря по-русски, употребляла такие выражения, как «в эфтом» и «с эстим». Да, она была очень аристократична, и иногда это проявлялось с некоторою узостью в отношениях к людям: вопросы внешних форм действовали отчуждающе. Но это было в мелких, безразличных обстоятельствах жизни; в больших, важных случаях она подходила к людям с той душевной широтой, которая именно и есть высшее проявление истинного аристократизма. Чужое горе, чужая болезнь заставляли ее как солдата на посту. Мой брат Григорий готовился в Морское училище, жил в приготовительном пансионе в Ораниенбауме; вдруг заболел воспалением легких, а пансион переезжал в Петербург – был конец лета. Родители были за границей, я и брат Петя были в гимназии. Бабушка приехала из Фалля, поселилась в маленькой одинокой дачке и выходила брата.

Однажды приехав в Фалль, где мы были уже раньше нее, она объявила, что с сегодняшнего дня будет говорить с нами не иначе как по-французски. О, как я благодарен ей за это столь напугавшее меня решение! Какая великая вещь знание языка; ведь мы не только обогащаем речь свою, мы обогащаем разум новыми понятиями, новыми соотношениями, новыми логическими категориями. Тут же мы начали с матерью читать французских стариков. Первая вещь была «Атали» Расина – мир красоты: и сами слова, и звуки этих слов, и мысли, и форма этих мыслей. Сознание формы вливалось в меня и от тех, с кем я жил, и от того места, где я жил, и от того, чем я жил. Прекрасная библиотека фалльская восходила к началу восемнадцатого столетия своими изданиями и чудными переплетами. Я стал брать книгу и уходить в лес. Так роднились красоты стиха с красотами природы; какая-нибудь сцена трагедии сливалась с солнечным лучом, между деревьев падавшим на зелень подлесного ковра. Я перечитал всего Расина, всего Корнеля, всего Мольера...

Когда мы с братом, выдержав вступительный экзамен в шестой класс гимназии, приехали в Фалль, у почтового моста при выезде из Кэзальского леса нас встретила триумфальная арка из сосновых ветвей. Бабушка, мать, братья, сестра, няня – словом, все ждали нас под аркой, над которой было натянуто белое полотно и на нем, как мы узнали впоследствии, по выбору маленького еще тогда брата Саши красовалась надпись, которую Павел I встретил Суворова после альпийского похода: «Достойным достойное». Младшие братья поднесли старшим по лавровому венку; бабушка подарила по выдвижному карандашу в золотой оправе.

Одно лето я прожил в «избе», что на той стороне реки над водопадом из-за лесу выглядывает. Мне были приятны и самостоятельность и красивое одиночество. Утренняя радость, утренний там лесной и первый брызг лучей сквозь росистые ветви обдавали меня, когда

по каменной лестнице спускался к цепному мосту, чтобы идти в большой дом. Смолисто – хвойная задумчивость обнимала меня, когда в вечернем сумраке по каменным ступеням поднимался к своему жилищу. Уезжая в восьмой класс, прощаясь с бабушкой, положил на стол ключ от «избы»:

– Могу им еще когда-нибудь воспользоваться?

– Пока я на этом свете, всякий раз, как пожелаешь.

Но это был последний раз. Следующее лето я провел в путешествии, в Фалле не был, а осенью она умерла. С 1868 года мы так распределяли: одно лето в Фалле, а два в Павловке, и из этих двух одно бабушка проводила с нами. В 1881 году в сентябре мать проводила ее до Вержболова; она поехала в Рим. В октябре мы получили известие, что она больна. Мы с матерью выехали. Я только поступил в университет; благодарен, что отец меня отпустил.

Мы застали бабушку в живых еще в течение двенадцати дней. При ней была прелестная ее старшая сестра, тетка Аппони. Бабушка умерла в страшных мучениях от закупорки кишок; но она выказала изумительное мужество и, хрупкое, нежное существо, учила нас умирать. Она скончалась 4 ноября в шесть часов вечера. Она жила в Palazzetto Borghese, что против большого дворца Боргезе. Дочь ее сестры, графини Аппони, была за князем Боргезе; сестра ее жила здесь, здесь же поселилась и бабушка. Мы отвезли гроб на станцию и поставили в вагон; покрыли красным покрывом, обложили пальмами; вагон запечатали. Печати сняли в Ревеле. Так, среди снега и мороза предстал под красным покрывом и, обложенный римскими пальмами, проследовал в Фалль и стал в домово́й церкви, в так называемом «церковном доме», гроб княгини Марии Александровны Волконской. Был мягкий зимний день. Гора была покрыта белым снегом и, белая, расстилалась книзу долина; черные из-под белых подушек глядели еловые ветви, в то время как зеленые пальмы ложились в могилу...

Двадцать лет жизни изымались из реального существования и переходили в тончайший дым воспоминаний. И в то время как неумолимая земля заравнивала грань между настоящим и уходящим прошлым, – за белым саваном равнины я видел, поверх макушек внизу лежащего леса, как море сочеталось с небом...

Таков Фалль, дивный Фалль. Я не сказал, – но, может быть, это неинтересно, – что я родился там, 4 мая 1860 года, в шесть часов вечера, в большой спальне, что над «колонной» комнатой; там были кретоновые занавески с пассифлорами... Пожалуй, упомяну об этом. Я не люблю воспоминаний, которые начинаются: «Я родился там-то, тогда-то». Всякий человек родится где-нибудь и когда-нибудь. Но кончить этим главу можно:

Я классицизму отдал честь;  
Хоть поздно, а вступленье есть.

Теперь от фалльского дома остались одни голые стены; в 1918 году там стояли наши красные войска: остались голые стены. Жаль:

Я вспоминаю с чувством умиления  
О дивном месте своего рожденья

## Глава 2 Павловка

Помните ли вы, что такое было – после экзаменов, с пятеркою в кармане, садиться в вагон? Помните огромный свод вокзального навеса? Световую арку, перед которой пыхтит нетерпеливый паровоз, и за ней простор природы? А помните, через два дня после этого, приезд в деревню? Не можете не помнить, – это незабываемо.

Уже давно в открытое окно вагона ласкающее, пахучее прикосновение степного воздуха. Направо и налево от полотна мягкое колыхание то ржи, то овса. Солнце садится, на него смотреть почти не больно: и какая-то между небом и землей разлита беззаботная благодарность... Поезд идет тихо. И сосчитать можно всю мерность его мягких поворотов и ровную повторность колесных ударов. Жаворонки взлетают, падают, реют, пропадают. Звонкий воздух допьяна звенит, исполосанный петлями летучих извивов.

Хорошо, но долго; медленно, слишком медленно катится вагон; слишком медленно пыхтенье, и так медленно, так равнодушно медленно стелются и тают клочья дыма... Свисток. Вот красная водокачка и вот наконец наша милая, грязная станция Волконская. Слезать с левой стороны.

Скорей, скорей через грязный зал на крыльцо. Подкатывает с бубенцами серая тройка; старый кучер поздравляет с приездом. Скорей, скорей вещи в коляску. Трогаемся. Опять бубенцы. Прогромыхала под колесами мостовая станционного двора, прогромыхали трясушие доски мостика – выехали на черноземную дорогу. Мягко, тихо... Сзади свисток; поезд пыхтит, раскачивается, пыхтенье напрягается, стук учащается, слабеет, пропадает... Где-то перепелка.

Как далеко все, что я люблю! Как далеко! Флоренция, Венеция! Ужели эти самые рельсы, по которым поезд сзади меня утонул в степной дали, ведет и к вам? Как далеко все тамошнее, каменное, великолепное! Да, как далеко все, что я люблю, и как люблю все, что кругом! Родина, Родина!.. Здесь все мягкое, земляное, соломенное. Историк Соловьев делил Европу на каменную и деревянную...

Катится колясочка, и валек пристяжной задевает придорожную рожь. Вечереет. Вечерний воздух сыт цветущей рожью... Вечерние звуки кончающегося дня; утомленная покорность возвратного движенья. Запах соломы, дыма, навоза... Уходящий горизонт ничем не перерезан, разве встречною дугой... Гаснущий пожар закатного неба. Висящее в пыльном облаке напряженное бляение; редкий щелк арапника. И вновь молчанье; и гаснет все больше, и мрак все гуще... Из темноты нежданный лай, нежданный фырк, нежданный вспых далекого костра...

Катимся. Звенят бубенцы, не то усыпляют, не то пробуждают. Пахнет лошадиным потом. Пристяжная звонкою подковой задевает о подкову. Катимся... И кажется, пространства нет, и времени не чувствуешь.

Но вдруг пахнуло зеленью, лесною сыростью: мы подъезжаем к парку. Темнее ночи на темном небе темнеют темные дубы. И обдает нас вдруг щелкающим гамом море соловыев: мы въехали в аллею. В конце аллеи огонек. То выбежали на крыльцо. Вот брызнул свет из окна столовой. Давно уже там ждали, и вдруг услышали в ночном молчанье ровный стук копыт, и кто-нибудь крикнул: «Едут!» И кто-нибудь повторил: «Едут! Едут!» И вышли со светом на крыльцо. Аллея кончилась, мы выкатили в обширный двор; огибаем большой зеленый круг – лошади остановились в полосе света.

О, первый ужин с укропом из собственного огорода!

«Прежде, – говорит Гоголь, – давно, в лета моей юности, в лета безвозвратно мелькнувшего моего детства, мне было весело подъезжать». Должен сказать, что всегда, не только в детстве, во всяком возрасте мне было «весело подъезжать». Уже к седьмому десятку я приближался, и не улетучилась острота этой радости. И сейчас, когда начинаю уже свой седьмой десяток и когда ничего уже не осталось от этого прошлого, когда и в том уголке души, где цвели лучшие цветы, уже и полынь не растет, – не могу без радостного трепета вспоминать, как подъезжал к милой нашей Павловке.

Часы поездов часто менялись на моей памяти. Затрудняюсь сказать, что я больше любил – приезжать ночью или днем, угадывать или видеть. Если днем – то обыкновенно приезжали часу в шестом. Какой прелестный час в усадьбе! Час, когда жар еще в земле, а с неба уже идет прохлада. Останавливаюсь на крыльце. Длинные тени от деревьев стелются по зеленым лужайкам; около дома поливают цветы – шум ведер и леек; над петунией и резедой жужжат пчелы, которые каждый год ютятся за обшивкой деревянного дома. С крыльца смотрю назад, откуда приехал. Зеленый круг посреди двора; посредине круга один из тех огромных глиняных, кирпичного цвета горшков, которые привез из Флоренции. Направо свесился через дорогу на круг, раскинул свою шапку огромный трехствольный дуб; огромный дуб: если его шапку очертить на земле, то будет круг шагов в двести. В ветвях этого дуба мы детьми готовили уроки. Под шапкой этого дуба, в тени ее, старый кучер Варфоломей Дейч Ходыкин ждал, когда выйдут на крыльцо, махнут подавать лошадей...

Через зеленый круг смотрю на аллею, по которой приехал. «Графская» зовется она, в память прежнего владельца Кушелева – Безбородко. Был у нас когда-то, в начале семидесятых годов, «эконом» по фамилии Каченовский; он старался перекрестить Графскую аллею в Княжескую, но, как он ни старался, старая аллея своего старого имени не отдала. Она длинная, почти в версту; деревья подстрижены стенкой, и только макушки свисают; живая изгородь, плотно подстриженная, окаймляет дорогу до конца аллеи; два белых столба отворяют выход в степной простор. Там солнце садится; горячий луч сквозь всю аллею скользит на середину круга и зажигает яркую герань в флорентийском горшке... По этой аллее за пятьдесят два года сколько приездов и отъездов; кому встреча, кому проводы. Что может быть приятнее гостеприимства в деревне. Послать на станцию, готовить комнату, заказывать обед, угадывать любимое блюдо... Радостно впускают белые воротные столбы, да и выпускают в радости, потому что без тяжести гости уезжают; с крыльца платки машут, и из коляски дамский платок, мужская шляпа; уже тройка маленькая, почти скрылась, а в огненном пространстве между столбов машет дамский зонтик или поднятая на палку мужская шляпа...

Напротив меня, влево от аллеи – белый флигель, так называемый «молочный дом», не по цвету своему, а потому что в нем когда-то был молочный ледник. Милый флигель, каменный, с высокой крышей; что-то готическое в нем. На заломе крутой крыши петух – флюгер. Под ним четыре буквы, вокруг него четыре страны света, но он подобен флюгерам в стихотворении Алексея Толстого, которые «не знают, в которую сторону им повернуться», – так тихо в воздухе. Нет ему, петуху, причины куда-нибудь преимущественно смотреть, но он смотрит на запад, через аллею, туда, где солнце садится, где деревня Криуша, откуда всегда дождь; он, вероятно, так остался после последнего дождя... Ниже петуха, под фронтоном крыши большие часы показывают шесть без двух минут. Через зеленый луг к тому дому ведет цементная дорожка сквозь два ряда цветов, сторающих в прощальной ласке закатного луча. По нарядной дорожке, переливаясь золотом и изумрудом, поколыхивая драгоценным своим хвостом, шествует павлин... Налево, по пути от большого дома к флигелю, наша милая старая кладовая: каменная белая постройка, старомодная, ампириная, с портиком из четырех колонн. Как дорог памяти моей железный визг ее дверей... Часы на «молочном доме» бьют шесть. Жарко на крыльце от стены, прижавшей за день бессменный зной немило-

сердного солнца. Это большое крыльцо под балконом я нарочно построил, чтобы в утренней прохладе кофе пить; но сейчас жарко; пойдем на другую сторону.

В прихожей обнимает прохлада; ставни были заперты весь день; только сейчас их отворили, и под горячим лучом горят кирпичного цвета стены. Дубовая лестница с темно – зеленой дорожкой поднимается и заворачивает в портретную. На стене большая картина Паннини: морская гавань, корабли, башни – тоже закат солнца. С потолка висит медная лампа, лампада, какие в Венеции в соборе Св. Марка. Вот дубовая резная библиотека с двойным окном цельного стекла: в него вид на луг, на огромные дубы, на дальнюю долину, там дальше – на седые ветлы; за ними блестит полоса пруда, и за прудом опять деревья, дальняя опушка парка. Сзади себя на крыльце оставил сухую степь, а здесь зеленый сок лесной... Милая библиотека! В ней три поколения коротали дождливые дни и долгие осенние вечера... Через большую двухсветную гостиную выхожу на каменную террасу – убрана цветами, и уже угадываю по запаху ядовитое присутствие туберозы... Перед террасой стоит в кругу десять исполинов дубов; задумались в прохладе поднимающейся тени; только самые последние листочки на макушках горят от солнца, что осталось с той стороны дома. Под деревьями сиденья – вторая гостиная. Под дубами мы, дети, любили обедать, ужинать. Направо с террасы, в прорехе меж деревьев, видна наша церковь – по ту сторону оврага, верстах в полутора: красивая, ампирная, очень красивая, 1806 года... Здесь тише, чем на той стороне; вечер стал, природа готова к ночи... С шумом крыльев, но без карканья проносится над высокими дубами туча грачей: полетели на дальний водопой... За большими дубами расстилается луг до края двух скрещивающихся оврагов; на краю стоит скамейка, перед ней площадка и цветник, и на пнях две огромные агавы, которые когда-то мать моя привезла маленькими в одном горшке с виллы Волконской в Риме...

В чем прелесть всего этого? Отчего мы так это любим? Много видал я мест прекраснее; и вся страна наша такая неприглядная, и климат сухой, и воды в парке другой нет, кроме двух прудов. Откуда же эта привязанность, корнями существа нашего вросшая в землю, влившаяся в каждое дерево, цветущая в цветах, обнявшая безбрежную однообразность степную? Не знаю, как другие, но отвечаю за себя. Для меня это непрерывное творчество. Задумывать, осуществлять, видеть в каждый свой приезд упрочение и рост того, что сделал в прежние годы, – какое нескончаемое удовлетворение. Да, наша местность, как степная, уныла, но вокруг дома старый парк в двести пятьдесят десятин. Когда родители купили имение в 1863 году, все было в запустении; только большие старые деревья радовали глаз, но всюду крапива, лопух, хворост. Теперь все чисто, свежо, нарядно. Не было ни одного хвойного дерева; первые две елки приехали с нами в корзинках на крыше кареты; в 1868 году еще железная дорога доходила только до Тамбова. Привезли две елочки; они были не простые – бальзамические, и мать моя тут же их посадила во дворе направо и налево от въезда. Они сейчас большие и точат дивно – благовонную смолу...

Мать моя не прекращала сажать, я продолжал. Нелегко ей было; мне было много легче. Во – первых, я работал уже на готовом фоне, во – вторых, в мое время рабочие уже приобрели некоторые навыки уважения по отношению к посадкам. Но как было трудно моей матери начинать! В посадках паслись телята, маленькие елки скашивались косой. Можно сказать, первые десять лет были более воспитательной работой, нежели созидательной. Шевырев сказал, что в «Слове о полку Игореве» выразилась в поэтической форме вековая наша задача – борьба с пустыней. Борьба с пустыней была деятельностью моей матери в Павловке, и, конечно, не одну природную пустыню тут следует понимать, но и ту пустыню, которую люди в природе делают, и ту пустыню, которая в самих людях. Нелегко ей было. Какое-то стихийное надвижение людского непонимания и даже людского издевательства сметало дело рук ее. Она не унывала; но только когда люди увидели результаты, тогда начали они понимать ценность того, чем результаты достигаются. Понемногу наступал период береж-

ной работы. В овраге, возле ручья, я посадил папоротника, такого, которого прежде у нас не водилось; он отлично прижился – косари аккуратно его обходили.

Рощи, целые леса мы развели, и хвойных столько, что вечером иногда пахнет сосной, и уже грибы пошли такие, каких прежде в нашей местности не было. В глубоких оврагах нельзя было пешком пробраться сквозь кусты и цепкий хмель, а теперь в шарабане можно ездить на четверике гуськом или в автомобиле.

Какая красота в парке, где мягкие зеленые дороги выются по лугам меж раскинутых древесных островов или в прямых архитектурных аллеях. Дубовая аллея – как внутренность готического собора, и в версту длиной. А кленовая – три экипажа могут рядом ехать, деревья сводом сходятся. Вы не можете себе вообразить эти аллеи ночью, и в них кататься в автомобиле с фонарями! Другой мир. Помню, когда приехал ко мне Модест Ильич Чайковский, – он приехал ночью, – я вышел за околицу парка встретить его и, вместо того, чтобы везти его аллеей прямо к дому, свернул после ворот влево, через так называемый «Сергиевский парк», в овраг. Дном оврага выехали в лощину, мимо седых ветел, мимо блестящего в луне пруда и – в аллеи: в одну, в другую, в третью, в дубовую, в кленовую, в березовую, в малую дубовую, в малую кленовую, в «новую»... Как архитектурность аллеи выигрывает, как она определенно вырисовывается под движущимся светом фонаря, который озаряет лиственный свод впереди и сейчас же отдает его мраку назад, из мрака вырывает и в мрак перебрасывает. Волшебство непередаваемо, и удивительность этого первого впечатления неповторима. Так Модест Ильич и остался в уверенности, что в час приезда своего он видел такие места, которых впоследствии не мог найти...

Парк интересный в древесном отношении; одних хвойных пород больше двадцати. За последние тридцать лет мы перекинули лесонасаждения уже за пределы парка. В голой степи пошли рощи – и лиственные, и хвойные; переход из степи к парку стал постепенным; кто долго не был в Павловке, не узнает местности: то была голь, а то перелески, острова.

Одно место мы особенно любили – Степкину вершину. По обе стороны крутого оврага вспахано и засеяно лесом; уже лес совсем большой. Овраг рогатистый, с мысами, и чем дальше от его вершины идешь к устью, тем все шире и глубже, а в конце, за последним мысом, вдруг блеснет гладь пруда; над ней, закинув шею на спину, выставив длинный клюв свой, пролетает цапля. Еще голубые, как бирюза, сивоворонки летают с одного берега на другой и дерутся в воздухе с желто – черными иволгами. Лисицы, когда проезжает автомобиль, выходят на опушку поглазеть, вильнуть хвостом и юркнуть обратно в чашу... Степкина вершина от парка в двух верстах, но отсюда с высокого места видно далеко. Виден в долине ближний хутор Владимирский; дальше Мариинский, когда-то на пустом месте, а сейчас в рощах утопающий. За ним дальний лес тянется до горизонта. За лесом в очень яркую, жаркую погоду видны туманные очертания города Борисоглебска... Лес – старый, строевой, в котором Петр Великий строил свой азовский флот и спускал по Вороне в Хопер и Доном к морю. Лес и посейчас называется Талерманская роща, от голландского слова «тиммерман» (плотник).

В детстве мы любили в лес ездить. Это не были пикники, это бывали переселения народов. В трех, четырех экипажах, а мы, старшие, с матерью верхом. Не доезжая леса, на сахарном заводе жила семья директора Островского; их было детей человек шесть, семь; забирала их. А сколько гувернанток, нянек, гувернеров, помощников управляющих, студентов, на побывку приезжавших... В лесу гулянье, игры; по Вороне катанье, в Вороне купанье, рыбная ловля; ужин, самовар, костры... И обратный путь под звездным небом... Теперь Ворона пересыхает; есть места, где можно вброд переехать; и с каждым годом все мельче... Есть места, где была река, а теперь подсолнух сидит и высасывает последние остатки влаги. Леса рубят, вода мелеет.

Да, пятьдесят лет любовного отношения к дереву не заразили местных крестьян; у них не только нелюбовь, у них ненависть к дереву. Если бы вы только видели жестокость, с какой обращаются крестьяне с деревьями. Прелестные молодые рябины, растущие пятью, шестью стволами из одного корня, всеми шестью стволами звездой на земле лежат: мальчики доставали ягоды. Подумайте только, если у вас есть сколько-нибудь склонности к философскому мышлению, подумайте, что это такое – из-за любви к последствию уничтожить причину... Крестьянин смотрит на дерево как на материал; его тень, его прохлада, а тем паче его краса ему не нужны. Он не сознает даже того, что рост дерева есть своего рода капитал и что как капитал начинается с копейки, так мачтовое дерево начинается с посаженного прутика. Крестьянин не понимает того, что в хозяйстве называется «рентабельность». Риск в хозяйстве ему чужд, и все имеет цену лишь с точки зрения единовременной наживы. Единовременность – вот гнусный и пагубный принцип крестьянского хозяйства, а следовательно, и хозяйственной жизни всей крестьянской России. Ничто не жидется на прошлом, ни в чем нет расчета на будущее; посев – дальше не видит хозяйское око крестьянина...

Со Степкиной красиво домой возвращаться. Дорога идет по высокому, сзади остался молодой лес, а впереди развернулся во всю длину зелено – темный парк – как море дубовых макушек... Проезжаем мимо кладбища, которое я обсадил деревьями, а налево гумно, тоже обсаженное; островки древесные готовят к въезду в парк. Вот пошли постройки, амбары, мастерские, машины, молотилки, веялки, жнейки... Какая школа людская все это. Сколько за пятьдесят лет выпущено слесарей, машинистов, столяров, шорников, садовников, приказчиков, конторщиков, бухгалтеров... Об одном расскажу.

Раз захожу в контору нашего Мариинского хутора. Сидит за конторской книгой молодой парень; я невольно нагнулся – меня поразил почерк. «Ты писал?» – «Я писал». Стал его расспрашивать; он так мне стал рассказывать все приемы счетоводства, как будто это для него праздник. После того он поступил к брату моему в Саратовскую губернию. Года через два получаю в Италии письмо от Гаврилы Позднякова (так его звали) из какого-то захолустья в Польше; он на военной службе и просит, нельзя ли похлопотать, чтобы его перевели в Петербург – ему страстно хочется учиться. Пишу брату Александру, который служил в Главном штабе. Отвечает, что такие переводы невозможны. Проходит месяца три, получаю письмо от Позднякова из Петербурга: переведен в Главный штаб за почерк; просит помочь ему деньгами, чтобы поступить на бухгалтерские курсы. Прошу того же брата это для меня сделать. Через два года радостное письмо: курс кончил, имеет хорошее место на Николаевской дороге и даже просит разрешения вернуть мне деньги... Быстро пошел в гору. Одно время был заведующим конторой винных складов графа Воронцова – Дашкова. Во время войны был взят в канцелярию Главного штаба. Здесь аккуратностью и деловитостью своей настолько выдвинулся, что откомандирован в личное распоряжение военного министра, и Поливанов говорил, что он спокоен, когда Поздняков у него в кабинете. Благодаря своим бухгалтерским знаниям он изобрел способ, которым мог в три минуты времени доставить сведения о любом солдате русской армии. На третий год войны он приезжал домой, в село Криушу, и заходил ко мне. Он даже – о, ирония судьбы! – сдал мне свой сундук на хранение; к счастью, он вовремя его убрал. Последнее письмо от него имел в 1918 году из Бердянска... И сколько людей, пройдя через нашу контору или наши мастерские, увидели свет. А учиться начали в нашей усадебной школе, где первой учительницей была основательница ее, моя мать...

Едем дальше. Всегда, куда ни подъезжаете, есть последний поворот; огибаем домик священника; вот наша красивая церковь на большом выгоне, окруженном саженным лесом. Вот пошли направо конюшня, водокачка, скотный двор, налево – разгонная конюшня, людская. Все это широко, раскидисто. Вот ворота, другие ворота; въезжаем в аллею – другую аллею: в четыре ряда елки; стрижено, архитектурно. Выезжаем на спуске к плотине: налево

пруд, и в пруду отражается белый флигель, «молочный дом». Он красив отсюда в зелени, но и оттуда красиво сюда смотреть, на эту сторону. Из окон моей спальни во втором этаже особенно красиво. Прежде здесь была пустыня, от которой хотелось отгородиться, а теперь красивые луга, окаймленные волнистыми линиями лесной опушки. Эту часть мы называем Александровский парк. Из окон спальни смотрю в бинокль на мною созданный пейзаж. Другая страна. Это ли тамбовская степь? Волнистая местность, дубняк, березняк, ельник; и среди роц возделанные нивы. В бинокль вижу, смотря по времени года, – покорно – длинные вереницы подъяремных волов, трескучее подпрыгивание сеялки, пестрый цветник платков и сарафанов во время полки и крылатое вращенье жнейки, снимающей плоды предшествовавших трудов. Все это на фоне зеленых роц, перед горизонтом из древесных макушек, я вижу из окна, из которого двадцать лет тому назад был виден пустырь и за ним степная голь... Вот то творчество, которое привязывает к месту. Как часто меня спрашивали: «Вы любите сельское хозяйство?» – «Нет». – «Вы любите охоту?» – «Нет». – «Что же вы в деревне делаете?» Уверяю вас, что мой день очень наполнен.

А мой дом, мой белый флигель, наш милый «молочный дом»! Такой несуразный, выкроенный из старого, но такой занятный. Моя спальня наверху; весь верх, в память детства, в память Фалля, разделан под готику тридцатых годов; там все под стать, немножко сухо и очень уютно. Главная комната, та, где балкон, та, над окнами которой башенные часы, – это «николаевская», с портретом Николая I, с портретами и бюстами прадедов. Никто не скажет, что устроено, – всякий подумает, что так перешло в наследство; прабабка спросила бы: «Где моя работа? Я вчера ее здесь оставила». К этой комнате ведет коридор, «сибирский коридор». Тут воспоминания о декабристах: портреты, виды, документы, вещи, бывшие в Сибири. Поучительно; все это говорит, рассказывает: Благодатский рудник, Чита, Петровский завод, Ангара, Амур, виды казематов, дед мой и бабушка в своей камере № 54. Повесть страдания и терпения, высоты и смирения... Все это собрано, развешано в коридорчике, освещенном сверху через солнечное слуховое окно. Все это свежо, бело, только готические стеклянные двери просвечивают пестрыми пятнами среди этой белизны. Как мало кто знает это. Как мало вообще у нас интересуются. Ни разу ни одна школа из города не подумала совершить экскурсию. Ну как же не показать учащимся такой «сибирский музей», не говоря о парке, о деревьях, сельскохозяйственных орудиях и пр. Ну как не дать им прожить два дня среди природы, набрать цветов, наловить насекомых, на сене ночевать... Нет, несчастных детей водили в июле месяце смотреть железнодорожные мастерские!.. А всё классовая рознь, через которую не умеют люди душой перешагнуть.

В нижнем этаже совсем неожиданная комната. Бывший ледник и погреб я превратил в зал. Из коридора пробита арка. Сходите двумя ступеньками на платформу, с которой две лестницы сходят вниз, а направо и налево расходитя галерея. Архитектурный план напоминает бассейн для плаванья, а кругом за колоннами ход. Внизу, кругом всей комнаты, полки с книгами и устроена гостиная, мягкая, уютная. Галерея за колоннами огибает весь зал; напротив входной арки, на том конце зала, огромное окно на юг и из него вид на другую, лесную сторону оврага, на Александровский парк, и из деревьев выглядывает белая колокольня церкви. Потолка нет, стропила наружу, как в старых итальянских церквях; от середины крыши до полу десять с половиной аршин. На правой длинной стене два окна на запад; красиво, когда косо луч падает в нижнюю часть зала и под ним красным жаром на круглом столе пылает букет пионов; гостеприимно, когда на том конце зала, под большим окном, на крытом скатертью столе дымится самовар... Эта комната – как гостиная – библиотека, устроенная в трапезной какого-нибудь итальянского монастыря. Из двух боковых окон должен быть вид на итальянский дворик и на итальянский сад – когда они будут, если будут...

В этой зале мы устроили на второй год войны елку для всех служащих. Елка в восемь аршин стояла внизу, подвязанная к стропилу; между колоннами висели замороженные, в

кузнице сделанные люстры. Было чтение, было пение, были подарки, было веселье... Перед тем за десять дней в той же зале была католическая обедня для пленных; сто двадцать человек пленников стояло внизу, в галерее за колоннами стояли наши «чины и власти». О военнопленных следовало бы мне рассказать, но это составляет такую особенность военного, предреволюционного и революционного времени, что в этих строках, повествующих о деревенском «мирном житии», не место говорить о них. Будет случай...

Я никогда не любил хозяйства; меня всегда больше влекла расходная, нежели доходная статья. С детства я питал отчуждение к хозяйству. Как ни старался отец меня приучить, ему не удалось разохотить меня.

О, эти поездки по хуторам с управляющим. Как я скучал! В жару на дрогах мы ехали. И все, что говорили отец с управляющим, так меня не интересовало и было так далеко от того, что меня интересовало. Говорят о хлебах, о севооборотах, о сдаточных ценах, а я еду, смотрю на поле и люблю васильками и даже хлебным врагом – красным куколем. Я восторгаюсь развесистым дубом, а тут говорят о поделках, о распилке. Я не слушаю, что там за моей спиной, на другой стороне старшие говорят, а смотрю перед собой на бесконечные волны бесконечного оржаного поля. Жарко; над лошадьми овода... Истома ложится на природу, обнимает и меня. Очень меня занимает под хвостом у пристяжной потная шлея. Лошадь вальком задевает за рожь, и из спелых колосьев высыпаются зерна на подножку экипажа. Смотрю себе в ноги: подпрыгивают оржаные зернышки. Они хитрые, они обманули человека; он их хотел взять, смолоть, а они с подножки на землю спрыгнут и дадут ростки. Я слежу за ними, глаз мой их провожает до того мгновенья, когда они прикоснутся к земле. Эта пляска зернышек меня интересуется больше всяких хозяйственных разговоров...

Но вот приехали на хутор, подъехали к конторе. О, эти заезды в конторы! Этот приказчик с обручальным кольцом на указательном пальце! Мухи на окнах, премии «Нивы» по стенам, куры на пороге, поросята на крыльце... Эта роковая необходимость конторских книг, ведомостей... Все это я вижу, слышу, но не смотрю, не слушаю. А дома ждет какая-нибудь начатая дорожка, вновь посаженное дерево, картинка, которую столяр вставил в рамку...

Так с детства жизнь делилась на нужное, несносное, и на ненужное, приятное. С детства ощущал враждебную встречу Красоты и Пользы. И только много позднее я понял, что вовсе не стыдно не интересоваться тем, что тебя не интересуется. Тут встает и другой вопрос, который между прочим формулировал Шиллер. Он сказал, что о вкусах человека надо судить не по работе его, а по досугам. Только много позднее понял я, что можно вкусы своего отдыха превратить в предмет своей работы. Конечно, не всякие вкусы заслуживают быть превращенными в работу и, с другой стороны, не всякий человек поставлен в такие условия жизни, которые ему позволяют слияние наклонностей и обязанностей. Но кто это может, для того прохождение жизненного пути являет редкое преимущество слиянности, единства и покоя.

Итак, я предпочитал расходную статью доходной. Но никогда мне не казалось, что я расходую на себя, когда расходовал на Павловку. У меня такое было ощущение, что моя обязанность, мое призвание сделать из Павловки то, что в революционные времена стали называть «культурная ценность».

С крестьянами отношения хорошие. С конторой, с приказчиками, с управляющими они тягуются, но со мной всегда вежливы. В воскресенье утром у меня на крыльце своего рода приемный день. Тот просит «скостить», тот просит «отпустить», у того корова «похарчилась», тому соломки на крышу, тому хворосту на плетень, кирпичей на печку... Трудно иногда бывало разобраться в справедливости и искренности; священник в этих случаях был верным советчиком. Трудно и потому еще, что не нравится снисходительность владельца управляющим: это уменьшает доходность. Но я им говорю: «Ведь вы ставите благотворительность на приход; так о чем же разговаривать?» Есть и такие, что приходят просто посоветоваться, как быть в том или ином случае: дележ, приписка к обществу – вопросы, от кото-

рых я далек, но всегда ценил доверие. Особенности воспитания, болезни приводили их ко мне. Одного слепого я взял в Петербург, поместил в приют, из него вышел певчий, и он плел корзины, делал щетки. За это я стал популярен среди слепых. У нас в округе их было довольно много, и, странно, они все на протяжении пяти, шести волостей знали друг друга. Один из них мне сказал, смеясь: «Слепой слепого издалеча видит». В семье Волосковых в деревне Павловке было два брата слепых; третий, зрячий, Егор, служил у нас в доме; редкой преданности человек; он пошел на войну и попал в австрийский плен. Через год вести о нем прекратились. Сколько раз старуха мать приходила просить: «Ну еще разок попытайся написать...»

У меня была целая переписка и с Красным Крестом, и с каким-то учреждением в Женеве. И не дай Бог, когда удастся известье получить, – тогда посыпятся просьбы.

Даже из Саратовской губернии получал прошения разыскать такого-то. Какая удивительная сила обобщения живет в безнадежности: один удачный случай пробуждает тысячи надежд... Милого Егора Волоскова, приветливого, сияющего, будут помнить все, кто жил в моем доме.

И еще будем мы помнить Ивана Меньшикова села Посевкина. Был убит на войне. Он был сторожем моего маленького дома в Борисоглебске, и когда в годы войны я там устроил лазарет, он стал наблюдателем, курьером и пр. Какой прелестный человек. Как раненые его любили...

Был еще один Меньшиков в Посевкине, Егор. Он с ранней юности своей работал у нас в саду, с любовью относился к каждой своей работе, прямо, когда исполнял физическую работу, приходил в какое-то вдохновенное состояние. Раз пошел с ним в дальнюю часть парка, которую мы прозвали «Кавказ», потому что там обрывистый овраг; со стороны степи я посадил лес, а дно оврага в некоторых местах приоткрыл. Таким образом, благодаря тому, что ровной степи не видать, можно подумать, что стоишь не на краю оврага, а на какой-то вершине. Там на одной лужайке среди сорной травы и мелкого кустарника я открыл прелестный дубок. Захотелось его высвободить. Пошли с Егоркой.

– Вот, Егорка, эту всю грязь вокруг дубочка мне скоси. Только смотри дубочка не смахни.

– Ну, нешто!..

Зашел с того края, поплевал в ладони, начал косить. Что ни взмах, то чистый полукруг перед Егоркой раскрывается. Валятся сорные травы и мелкие кусты, ложатся кучками влево от него. Он входит в упоение, в ярость: гортанным дыханьем отмечает каждый взмах – «Раз! Раз!» Я стою против него, у другого края сорного места. Уже сзади дубочка все чисто. Вдруг взмах, и после гортанного «Раз!» – крик, в котором и ужас, и отчаянье, и раскаяние. Он замер. Мы смотрели друг на друга, развели руками... Однако дубочек не посмотрел на дело так трагично, как мы; он пошел от корня двумя ростками; я срезал один, оставив более сильный. Теперь он вдвое выше роста человеческого.

Егорка боготворил память моей матери. Он впоследствии был разъеден страшною болезнью. В последний раз, что он приходил, на него было жутко смотреть. Трудно было понимать его слова; но в гнусавых звуках, выходивших из того, что было остатком его лица, я разобрал, что каждый день он приказывает детям молиться за покойную княгиню...

И еще одного Меньшикова помню, тоже из Посевкина, – там было много представителей этого знатного имени. Было это на второй год войны. Приходит, – в ноги. За пятьдесят лет не могли отучиться. Впрочем, только те так делали, кто в первый раз приходил. Спрашиваю, чего ему. Забирают, а он вдовый и пять человек детей, ни матери, ни тещи, – кому их денет?

– Пришел к вам попросить письма.

– К кому?

– А там из Питера приехал набор производить Князь Великий.

А я слышал уже, кто приехал набор производить.

Нет, говорю, не Князь Великий, а князь Енгалычев.

– Вы с ним знакомы?

– Знаком.

– Ну вот, к нему письмо пожалуйте.

– Слушай, ты мне веришь?

– А то.

– Ну так я тебе скажу, что письмо мое тебе нисколько не поможет. Когда набор?

– В воскресенье в Алабухи являться.

– Ну вот, забери ты всех пятерых своих детей, погрузи на телегу и так и поезжай в Алабухи и со всеми детьми прямо вали в воинское присутствие.

– Так ведь маленький и ходить-то не умеет.

– На руки возьми.

– Ну спасибо за совет.

Так он и сделал. Освободили.

Итак, по воскресеньям приходили крестьяне. Я к ним подходил вплотную. Тех, кто не знал меня, это, по-видимому, удивляло. Я заметил, что это удивление, в свою очередь, создавало с их стороны новое средостение, но скоро оно пропадало. Отношение было хорошее; какое-то я чувствовал всегда с их стороны снисхожденье; они как будто прощали мне мои преимущества. А может быть, и этого даже не было, а просто в их глазах я был чудак. Трудно переселиться в чужую оценку, то есть в психологию, руководящую чужой оценкой... Одна баба сказала знакомой помещице, что ко мне крестьяне хорошо относятся, потому что я бедных «презираю». Конечно, я делал что мог, но тяжело сознание бездонности того, куда кладешь.

Да, помещичья помощь крестьянину – это палка об одном конце, если можно так выразиться. Или скажем так: побуждение – одно, а результат – другое. С одной стороны, желание добра, а там – ничего, пустота. Все это ни к чему, и всегда я имел такое ощущение, что это с моей стороны откуп. Откупиться за невозможное, недостойное положение вещей. Но сказать, что я чувствовал ответственность за такое положение, никогда не скажу. Бездонность всякой помощи крестьянину тем определяется, что его интересует только – получить, он не понимает, что значит вложить. Когда понятие дохода заменяется понятием наживы, то один лишь шаг к тому, чтобы понятие наживы в свою очередь заменилось понятием мошенничества. Губительный принцип единовременного пособия вьелся в крестьянина, сидит глубоко. Мошенничество – один из видов единовременности, и мошенничество для него – условие хозяйства. За сорок лет один только случай припоминаю, который могу назвать хозяйственной помощью, а не подачкой. Какой разумный, правдивый мужик Алексей Давыдов села Посевкина. Он каждый год берет у меня в долг, каждый год больше, всегда возвращает «на Николу». Завел себе скотину, инвентарь, по моему совету покрыл крышу цементной черепицей. Он каждый год веселеет. А все остальное – бездонная яма, один непробудный отказ. Тяжело, с детства тяжело было чувствовать это отличие себя и всего огромного окружающего моря. И всегда чувствовалось, что когда-нибудь прорвется. Но не чувствовал я, что когда прорвется, то им станет лучше, а еще меньше – что они сами станут лучше. Алексею Давыдову не нужна моя итальянская зала, и он совершенно счастлив без нее...

Когда я в таких мыслях, я ухожу в дальний угол парка. То есть все далеко, когда двести пятьдесят десятин, но говорю – дальний, потому что самый отдаленный от всякого жилья; ни служащему туда не за чем, ни рабочему туда путь не лежит. Это самая вершина одного из наших оврагов, называется Чумакова вершина. Это западная часть парка, еще молодая, так что при вечернем солнце еще залита горячим светом. Овраг в вершине рогатится надвое, со всех сторон мысы. Склоны их я обсадил елями, а на главном мысу, разделяющем два

главных оврага, я посадил большой сибирский кедр. Он могуч, он виден издалека, его зелень бархатна, он царствует посреди елок. Туда люблю я уходить, когда разум мой предвидит, а душа предпочитает не знать.

Елки на склонах стоят вертикальные; четко ложатся их тени; они посажены этажами, так что хорошо вырисовывается разной высотой их макушек волнообразие почвы. Здесь прижился большой заяц; всегда откуда-нибудь выскочит. Но это все, больше ничего живого; разве пушистый шмель над красно – бархатным клевером покружится, сядет, торопливо пососет и, оторвавшись от выпитого цветка, жужжливо негодуя, перелетит на другой...

Сколько у нас полевых цветов, и каких разнообразных! Вот розовые лепестки эспарцета, как составленные из мелкого горошка; а вот и прямо горошек, темно – красный, с завивающимися усиками. Какое разнообразие дикой гвоздики; есть маленькая красная, а то большая белая, перистая. Там длинные метелки желтой кашки, нежно – белые метелки того, что французы зовут «царица лугов». Выскакивает крепкий, как золотая елка, Соломонов скипетр. А колокольчиков сколько видов – и обыкновенный, и елкой, точно игрушка, увешанная китайскими позвонцами, и крупный, огромный, с жирными белыми тычинками в раскрытых губах крепкого синего цветка. И, наконец, нигде не виданный мною колокольчик, такой темный, что почти черный; по латыни называется *Fritilaria Meleagris*. А еще милая наша *Clematis integrifolia* – из четырех крепких сине – лиловых лепестков звезда, и посредине пучок белых тычинок; пахнет будто одеколоном; много его в клумбы пересадил. В мае сколько темно – лиловых ирисов! Синий усоп, как мягкий хвост, качается под ветром; к кустам прижимается желтая арника, и в дубравной тени, на тонком стебельке, красная, горит наша дикая вервена – «барская спесь», или «жгучая любовь»...

А цветущие кустарники! Низкорослый бобовник, который цветет цветом абрикоса; приветливый шиповник; бересклет, к осени обсыпанный розовыми чашечками, из которых семена висят черными сережками; из них мы, дети, делали нашей няне Амалии Антоновне серьги. Белая акация, которой ни одной не было, а теперь леса. А вишни весной «как молоком облитые». Празднества, не краски, празднества, не запахи. Сколько таких празднеств от ранней весны, когда склоны оврагов голубели под голубыми подснежниками

И в завитках еще в бору  
Был папоротник тонкий,

до поздней осени, когда, в предсмертной роскоши листвы, золотом блестит береза, клен пылает красным пламенем, лиловой темной кровью горит угрюмый вяз, коралловыми пятнами смеется бересклет. Сколько лиственных букетов под косым лучом горело осенью в итальянской зале на том столе, где весной пылали пионы!..

Да, наша флора очень замечательна и малоизвестна. Однажды, в начале семидесятых годов это было, мы с матерью посетили в Москве какую-то художественную школу. Нам показали среди прочих ученических работ «орнаменты на мотивы из русской флоры». Какое убожество! – ромашка, незабудки, мак, овес... Приехав в Павловку, мать моя стала зарисовывать цветы. У меня сохранился, случайно сохранился этот прелестный сборник; думал когда-нибудь его издать. Вместо обложки думал воспроизвести ее же рисунок: обливной посуды горшок, купленный на базаре в селе Алабухах в один из вторников, и в нем большой пучок ковыля. Волнистым колыханьем ковыля серебрятся в мае месяце поляны нашего парка...

Прохожу меж юных елок. Приветливо встречают деревья; у них нет различья в настроении, как у людей, у них бывают несчастья, болезни, но у них не бывает нервов. Они всегда приветливы. Люблю подходить к маленьким елкам, к таким, которых макушку можно еще тронуть... И всегда что-то приветливо прощальное я чувствую в этом западном углу нашего

парка, в этой далекой Чумаковой вершине. Обхожу деревца, вижу, как будет через тридцать лет... Я нарочно посадил здесь так много елок, дабы

...над ельником, из-за вершин колючих  
Сияло золото вечерних облаков.

Обхожу деревца, снимаю повитель... Имею ли я право так любить все это и так глубоко всем этим наслаждаться? А на любовь разве есть право? Нет, на любовь не может быть *права*, на нее может быть только чужая зависть. Но зависть не дает ее тому, кто ее не имеет, и зависть ее не отнимет у того, у кого она есть...

В лощине я посадил несколько тополей; подрезаю, чтобы стрельчатее росли. Тут же посадил голубой ветельки; смотрю: принялась. Вон елочка вздумала разукрасить себя зелеными шишечками; в эти годы? Какая неосторожность; надо сорвать их – зачем деревцу истощать себя?.. Кедр великолепен. Устоит ли? Жарко, сухо здесь; иногда поливать приходится, а пруд далеко. Он выше всех, и молодой лес вокруг него не защита ему; легко может бурей его сломать. Он был подвязан на три стороны проволокой к столбикам – проволоку украли; подвязал веревкой – веревку украли; подвязал мочалкой – мочалку украли...

Солнце село. Иду вдоль оврага домой. Овраг налево все глубже становится, все сумрачней; большие дубы, со склонов и со дна поднимающиеся, все выше. Туда, вниз, не хочется: там сыро, там уже темно, там пахнет грачом. Здесь, наверху, сухо, здесь еще светло, здесь пахнет медом и сеном... Парк теряет дикости своей; все глаже причесаны лужайки, кусты; дорога, зеленая, мягкая, стала крепкая, кирпичом убитая. Вот стриженная изгородь к дому, вот цветники и вот крыльцо: плитки в шашку, удобные плетеные кресла...

Тишина. Уже кончили поливать. Аллея погасла, и потухла горячая герань на середине круга в флорентийском горшке. Жарко. Сухо...

– Мария Гавриловна!

Старушка экономка только что заперла визгливую железную дверь кладовой и валкой своей хлопотливой походкой направлялась к кухне.

– Можно простокваши?

– Сию минуту.

И сколько раз, когда мне подавали вкусную холодную простоквашу, я думал: «А может быть, это последний раз...» Но нет, не последний... «Но будет когда-нибудь последний», – всегда доканчивал я... И был последний, был.

Я вижу, что весь свой рассказ я вел в настоящем времени. Простите и поправьте. Везде, где стоит «есть», поставьте «было, было, было». И знайте, что из всего, что я описывал, сохранилась у меня только – и сейчас, пока пишу эти строки, она лежит передо мной – кедровая шишка от кедра, что остался там, на Чумаковой вершине.

## Глава 3

### Гимназия и университет

IV Ларинская гимназия была на 6-й линии Васильевского острова; мы жили на 4-й, в прелестном особняке (тогда № 17) с садом, с чудной верандой. Экзамены – самая прелестная пора тех времен:

Любовь земли и прелесть года,  
Весна благоухала нам.

Готовились мы к экзаменам гурьбой, с товарищами, на веранде. Сирень кругом. День кончался, но ночь не надвигалась, стояла белая... Складывали книги, гурьбой бежали к Тучкову мосту и – в яликах на острова.

Петербургское взморье!.. Как мягко, низко земля подползает под воду; стелется белый песок под светлую струю, а светлая вода струйкой набегаёт, едва смачивает белый песок. Колочие высятся очертания резких елей. Тихий плеск воды, и в нем передержки соловья. На белом небе – звезда, тоже белая, влажная, как слеза... И вкусны же после зубрежа колбаса, и сыр, и «трехгорное пиво»! Скользим по глади; с весел капельки струятся. Кроме наших голосов только соловьиный щелк. И дивен темный лес, «неведомый лучам в тумане спрятанного солнца»...

Я больше обязан гимназии, чем университету, и в смысле приобретенных знаний, и даже в смысле методов мышления. Что самое важное в преподавании? Скажут: уметь научить. А я думаю, что преподаватель меньше всего учитель; он, прежде всего, пробудитель. Трех человек я должен помянуть благодарностью именно как пробудителей.

Виктор Петрович Острогорский был преподавателем русского языка и литературы. Это был типический шестидесятник со всей присущей шестидесятникам прелестью и со всей несносной узостью и теоретичностью их идеализма. Большая струя гражданской скорби и горькая капля сарказма. Это на кафедре проявлялось в очень сдержанной форме, но кто только умел слушать, видел между строк мысль его и под вицмундиром его душу. Несмотря на то, что многое в его подходах было не по мне, он был мне ценен; я не следовал за ним в ту дверь, в которую он меня приглашал, но он своей критикой помогал мне осознать ту дверь, в которую меня тянуло. Литературные направления, литературно – художественные формы, вопросы соотношения формы и содержания, этики и эстетики – все это умел он затронуть, как садовник рыхлит землю вокруг корней. «Мысль, однажды пробужденная – сказал Карлайль, – уже никогда не заснет». Вот за что я благодарен Виктору Петровичу: не за то, что он указал мне мой путь, а за то, что указал на существование путей. Он был мягкий, добродушный преподаватель; иногда бывал выпивши и тогда бывал особенно саркастичен. Фактической стороной преподавания он сильно пренебрегал; уроков ему не готовили, сочинения «жилили». Одно неподанное сочинение о Жуковском долго тяготило нашу совесть, и все мы боялись, что вдруг он вспомнит о нем. Однажды он по записной книжке делал обзор всего пройденного – и вдруг:

– А что, о Жуковском подавали?

– Подавали, как же, подавали.

– Да, тоже очень поверхностно было написано.

Чего же поверхностнее, подумали мы, и у всех отлегло от души. Через двадцать два года, когда я был директором императорских театров и пригласил его на какое-то заседание, за чаем я рассказал ему этот случай; он заливался смехом и захлебывался от удовольствия.

Преподаватель латинского языка Владыков был фанатик грамматики. Не скажу, чтобы ему я был обязан любовью к античному миру; не скажу, чтобы он воспламенил меня к поэтам древности; но он зажег меня уважением к грамматической точности; и поскольку грамматика есть ближайшее соприкосновение словесной формы с мыслительным содержанием, я обязан ему сознательностью своего словесно – мыслительного аппарата. Он был сух, невозмутим, говорил правила латинской грамматики скороговоркой, требовал такой же сухости и быстроты в ответах и за малейшую неточность ставил единицу. Очень горжусь тем, что у меня была в восьмом классе тетрадка латинских переводов, в которой была только одна четверка, остальные все пятерки.

Его сухость оказалась болезненной; злейшая чахотка свела его в могилу меньше чем в три месяца. Я навестил его в больнице. Он не знал о своем конце; с лихорадочным увлечением развивал он принципы той латинской грамматики, которую собирался издать, и замогильным голосом, с пламенным взглядом говорил о герундиве при глаголах *utor, fruor, fungor, potior* и *vescor*...

Третий преподаватель, о котором вспоминаю с признательностью, – Владимир Иванович Белозеров, учитель истории. Он готовил нас с братом в гимназию, и мы полгода просидели на греческой мифологии. У меня была тетрадка, где были записаны генеалогические деревья богов и героев. Все это жило эпитетами, сравнениями и было проникнуто настоящим классическим дуновением. Это, в сущности, было единственно классическое, что мне дала классическая гимназия; этим зажили мои детские воспоминания флорентийских музеев, мои первые впечатления итальянского Возрождения. Особую признательность сохраняю ему за то, что он показал мне форму конспектов, по которой все главные деления пишутся по левой стороне страницы, а все подразделения заполняют правую сторону – чем мельче, тем правее. До известной степени ему обязано мое мышление своей геометрической складкой. О, как мало ценится геометрия в кругу гуманитарных дисциплин. Как вообще мало подчеркивается связь разных дисциплин. Сколько логики в геометрии, сколько геометрии в логике. А декламация – какая дивная звуковая геометрия, когда знать ее законы...

Вот три человека, которых могу помянуть. Все остальное была вицмундирная рутина.

Было и у нас, конечно, комическое козлище – в лице преподавателя немецкого языка Карла Карловича Ольшевского, которого, когда он входил в класс, встречали трубным гласом и барабанным боем кулаков по столу. Он любил, чтобы его чествовали, и как фельдмаршал перед фронтом проходил на кафедру. Он был совсем глупый человек; иногда трудно было понять, чего он требует. Вызовет кого-нибудь: «Скажите предлоги с родительным падежом». Ученик говорит без запинки это бессмысленное чередование предлогов, положенное в стихи: «*diesseits, jenseits, halber, wegen*». Ольшевский слушает, на его лице читается разочарование... Иногда он говорил:

– Возьмите тетрадки, что-нибудь пишите. Думайте по-русски, пишите по-немецки.

– Позвольте, Карл Карлович, лучше думать по-немецки, а писать по-русски... Или тогда уж лучше сами нам продиктуйте, а мы переведем.

– Ну хорошо. Возьмите тетрадки. Пишите: моя сестра любит жениться.

Он, как видите, по-русски плохо знал и прибежал к нашей помощи, когда ему надо было разобрать письмо. Один бывший сослуживец по Сибири, где он прежде служил, писал ему оттуда; завидовал Карлу Карловичу, живущему в столице, «в водовороте событий, а мы здесь, несчастные, толчем воду в политической ступе». Очень, после того как он ее понял, очень Карлу Карловичу понравилась эта метафора...

Я сказал, что университет дал мне меньше гимназии. Это надо, конечно, понимать относительно; то есть если сравню то, каким я поступил в гимназию и каким я из нее вышел, с тем, каким я вошел в университет и из него вышел, то на стороне гимназии будет несравненно значительнейший плюс.

По окончании гимназии я написал профессору Александру Николаевичу Веселовскому, у которого намеревался заниматься, прося его посоветовать мне, что мне прочитать, вообще, как подготовиться к слушанию его лекций; меня в особенности влекло к романской литературе. Но письмо мое осталось без ответа. Не знаю, как объяснить, что этот очаровательный человек, столь отзывчивый, так близко к студентам подходивший, не откликнулся на мой запрос; но это повлияло на все мое прохождение через университет; уже никогда я не сумел подойти ни к одному профессору.

Интересы мои навсегда остались вне университета; университет стал какой-то повинностью, которую надо было отбыть и сбыть. И я отбывал ее, и без всякого внутреннего влечения. Ведь надо же университет пройти, надо кандидатом кончить. Последнее тоже мне не представлялось под видом внутренней необходимости, а вставало постулатом родительского требования. Отец мой, сам окончивший только иркутскую гимназию и через университет не прошедший, – то не его вина была: он просился, но когда Николаю I доложили просьбу сына ссыльно – каторжного, он сказал: «Будет с него и гимназии», – так, мой отец, сам в университете не бывший, был бы в отчаянии, если бы кто-нибудь из его сыновей – студентов не кончил кандидатом. Я работал для удовлетворения его желания, но до сих пор иногда вижу во сне, что мне осталось держать последний университетский экзамен; кошмар сгущается, и когда обступает меня ужас бесцельного усилия и неискренности в удовлетворении пред-рассудка ради сыновнего послушания, вдруг во сне я вспоминаю, что отца уже нет в живых, что я его уже огорчить не могу, – плюю на экзамен, облегченно вздыхаю и – просыпаюсь...

Александр Николаевич Веселовский был живой, горячий человек. Высокий лоб, вокруг головы стоящие курчавые черные волосы, круглые навывкате глаза, толстые красные губы, которые как-то удивительно приятно, мягко, я бы сказал: вкусно говорили. Он читал нам языки испанский, итальянский, провансальский. Но ни он, да и никто из профессоров – филологов не умел заинтересовать предметом. Они все выносили на кафедру то, что лежало у них на письменном столе. Все суживалось, не было больших линий. Я уже не говорю о таких филологических крысах, как профессор греческого Люгебиль, который сидел на своей излюбленной «дигамме» и даже откопал, что ранее этой исчезнувшей буквы была в греческом алфавите еще другая; но даже такие светила, как Ягич, Ламанский, по славянским языкам, не сумели меня завлечь.

Таких профессоров, которые задавались художественно – ораторскими целями, могу мало назвать. Сухомлинов, по русской литературе, читал приятно, но это не было глубоко. Большим ораторским успехом пользовался Орест Миллер – читал о славянском эпосе, также по русской литературе. Маленький, горбатый, в очках, с большим оголенным лбом и большой черной бородой, – его звали Черномор. Он был немножко смешон на кафедре, которая его закрывала; всегда в полуобороте, с грозно сдвинутыми бровями, он сильно подчеркивал слова, которые хотел выделить, и иногда ударял по кафедре кулачком. Молодежь его любила, но и он заискивал перед ней. Это, впрочем, была общая тогдашняя повадка. Такие светила, как, например, Градовский, по государственному праву, которого я иногда ходил слушать на юридический факультет, всегда пригадывал кончить лекцию под рукоплескания и, выходя из аудитории, проходя коридором, оборачивался и раскланивался; с каждым поклоном рукоплескания вскипали.

То было неприятное время. В университет нахлынула волна политических брожений, и профессора этому не препятствовали, многие даже поощряли. Это был 1880/81 учебный год. Он прошел в нескончаемых волнениях, в непрекращавшихся сходках. Во второй половине этого года разразилось 1 марта, убийство Александра II, самое отвратительное из всех политических убийств. В университете царил какое-то звериное настроение. Положение людей нашего круга было тяжело, а наше с братом положение осложнялось еще тем, что отец был товарищем министра народного просвещения. Сколько косых взглядов... Как странно,

что именно те люди, которые проповедуют равенство, они-то больше всего против равенства грешат. Помню, был у меня товарищ, Крыжановский, всклокоченный, в косоворотке. Он занимался изданием литографированных записок по лекциям Ягича и Ламанского. Я обыкновенно брал при раздаче и за себя, и за своего товарища Николая Струве (брат известного Петра), который давал уроки и не мог дожидаться раздачи. Но как-то так вышло, что два раза он был свободнее меня и взял мою долю. В третий раз тоже он был свободен, а я нет, и в шинельной, уходя, я подошел к Крыжановскому в то время, как он раздавал, и сказал:

– А мою долю, Крыжановский, пожалуйста, передайте Струве.

– Не передам.

– Почему?

– Потому что вы барствуете.

По лицам окружающих я увидел, что он должен пожалеть о своих словах, и по его собственному лицу я увидел, что он мою просьбу все-таки исполнит. Но вот как у этих людей во всем, даже в самых мелочах, было две меры и двое весов. Профессора этому потакали. На экзамене Минаева по языковедению я отвечал хорошо. Встаю, спрашиваю:

– Могу узнать, сколько?

– Три.

Как раз на углу стола сидел, готовился к своему билету тот самый Крыжановский. Не знаю, видел ли Минаев, как он, услышав это «три», привскочил; вся его фигура выражала – «быть не может». Через два, три дня один из товарищей был на дому у Минаева; разговорились об экзаменах.

– А вот вы говорите, что вы справедливы, а Волконскому три поставили.

– Ну, ему я за титул сбавил единицу.

И всю мою жизнь – в школе, в провинции, впоследствии в критике моих писаний, в оценке моей воспитательной деятельности – мне «сбавляли единицу за титул». Всю жизнь я чувствовал, что тяготеет на мне обвинение в том, что я «князь», а теперь, во время большевизма, мне тычут в глаза, что я «бывший князь». Несмываемый грех в глазах тех, кто проповедует равенство...

Министерство народного просвещения было единственное ведомство, которое я имел случай поближе наблюдать. Оно было затхло.

Мой отец был попечителем Петербургского учебного округа в последние годы царствования Александра II в министерство графа Д. А. Толстого и товарищем министра при Александре III в министерство Делянова, поэтому я многих знал. Нигде, никогда не чувствовал я себя столь чужим, как когда приходилось бывать в министерстве, говорить с людьми в синем вицмундире. Гимназия в то время осуществляла идеал толстовской «классической системы». Это было стройно, но сухо, а главное, совсем не классично. Главная пружина механизма, Александр Иванович Георгиевский, с самодовольством глядел на часы и говорил: «В данную минуту в пятом классе всех гимназий российской империи проходятся латинские неправильные глаголы». И это называлось «классическое воспитание».

Конечно, я лично всегда буду благодарен родителям, что поместили меня в классическую гимназию. Но какую же я имел из дому подготовку, какой уже запас сведений, впечатлений? То, что я принес в гимназию, в смысле направления ума и душевных влечений, было, во всяком случае, не меньше того, что я от нее получил. Гимназия только пополняла; я бы сказал, что гимназия являлась казенным текстом к моим домашним, совсем не казенным иллюстрациям. Но что давала она заурядному гимназисту, такому, у которого не было такого дома, таких родителей, таких воспоминаний? Одно формальное выполнение программы, прибавлю – ненавистной программы; ибо не только безразличием дышало отношение учащихся к программе, оно дышало ненавистью: мы ненавидим всякое усилие, в котором не усматриваем целесообразности или от преодоления которого не испытываем награды.

В Петербурге сквозь этот регламент иногда пробивался свежий дух, когда преподаватель обладал сколько-нибудь яркой индивидуальностью; но провинция! Что за сонное царство провинциальная гимназия! И как все это было не нужно. Я был впоследствии почетным попечителем гимназии в моем уездном городе Борисоглебске Тамбовской губернии. Какое противоречие с совестью моей сидеть на экзамене и хвалить за хорошие ответы. Накануне я в лавке ситец покупал, лавочник мне отмерял, а на другой день сын этого лавочника рассказывает о гоплитах и квиригах или о греческих частицах. Изнемогая от жары в июне месяце, потеют несчастные мальчики над греческими аористами, а в трехстах саженях от гимназии рожь колосится... Какая ложь была во всем этом; оно столь же мало отвечало естественной пытливости ребенка, сколько требованиям среды. По окончании курса все это приводило или к разрыву с родительским домом, или к разрыву со всем, чему в течение стольких лет учился человек, – оно оказывалось неприменимо, для жизни не нужно.

И это в городском населении, а в деревне! Эти юнцы, которых родители на последние крохи «выводили в люди»... Сколько я видал таких: по деревне с тросточкой гуляет; сыплет иностранными словами; когда его спрашивают – который час, отвечает с прибавкой – «по московскому времени». Несчастные родители не знают, гордиться или стыдиться, радоваться или сокрушаться. Сверстники их называют «беловоротники», старики, махнув рукой, говорят: «пахать перестал».

Так образование, вместо того чтобы вливаться в среду, выкачивало из деревни ее умственные силы, внушало к себе общественную вражду. Сколько мы слышали в свое время про темноту деревенскую. Да разве просветлеет деревня от того, что пять, шесть человек из нее, побывав в гимназии, сидели бы в какой-нибудь канцелярии в Саратове, в какой-нибудь банкирской конторе в Харькове или в почтовом отделении в Тамбове? Слагалось такое понятие, что образование нужно не для деревни, а для того, чтобы выйти из деревни. Благодаря этому выдавливанию получалось нечто еще худшее: образование стало понемногу получать характер чего-то сословного. Эта сторона нашла себе наконец выражение в ужаснейшем слове «интеллигенция».

Я хорошо помню, когда оно впервые раздалось, это безобразное, выдуманное на иностранный лад, на самом деле ни в одном иностранном языке не существующее слово. Тогда оно имело определенно полемический характер и противопоставлялось «аристократии». Наш брат не признавался за интеллигенцию; «интеллигенция» – это был класс, ставший между «высшим классом» и «народом»; он был к высшему классу настроен враждебно, к народу дружелюбно. Теперь, после всех встрясок революции, когда всё, что культурно, сколько-нибудь выше известного уровня, *одинаково* испытывает последствия своей зарубежности, – теперь содержание слова «интеллигенция» расширяется до пределов какого-то духовного братства, в котором сглаживается сама память о прежних косых взглядах; те самые, кто смотрели вверх враждебно, а вниз дружелюбно, теперь смотрят вниз враждебно, а вверх союзно. На почве общности житейских и гражданских условий возникает стремление к признанию какой-то слитности, какой-то неделимости в том самом, где прежде в лучшем случае царили недоверие и отчуждение.

В моем уезде я был единственный «князь», я был владелец десяти тысяч десятин. Господа эсеры не теряли ни одного случая, чтобы представить меня перед глазами населения в таком свете, какой, по их видам, соответствует «князю», «помещику»; «аристократу» и пр. На собрании по вопросам сельского хозяйства один из них, с присутствием этим людям пылом и с подобающей данному случаю яростью, громил помещиков нашего уезда за то, что они изводят леса. Я сидел в публике; после собрания написал ему письмо, в котором говорил, что он мог бы в своей речи сделать, во всяком случае, одно исключение – для нашего имения, где более двадцати лет идет правильная рубка с семидесятилетним оборотом и где за сорок лет владения облесено искусственным насаждением по крайней мере шестьдесят десятин

в голой степи. При встрече он извинился, что «забыл». Странная забывчивость со стороны человека, который специально занимался приведением в ясность условий лесного хозяйства в нашем уезде. Но эффект был произведен. *Pereat mundus, fiat – injustitia*. Пускай погибнет мир, но да свершится правосудие. Таков был их внутренний, невысказанный лозунг.

Достаточно было доноса двух пьяных крестьян, чтобы последовала официальная бумага о том, что «у князя Волконского по полям разъезжают вооруженные пленные и препятствуют крестьянам убирать хлеб»; бумага кончалась просьбой «принять немедленные меры». К счастью, прежде немедленных мер было произведено следствие, которое выяснило нелепость подобного обвинения. Но опять-таки – волнение произведено, и, вместо обычного «что и требовалось доказать», люди могли сказать: «чего и требовалось достигнуть». Так вот, я к тому веду, чтобы сказать, что эти самые люди, которые выказали такую осведомленность относительно моей личности, говорили впоследствии, и совершенно искренно, что единственный дом в Борисоглебске, где они «отдыхали душой» – это дом «Сергея Михайловича». И тот самый, который «забыл» упомянуть о лесном хозяйстве в моем имении и который требовал «немедленных мер», пришел ко мне в Тамбове просить четыреста рублей, чтобы бежать от большевиков. Не знаю, можно ли такому сближению давать какую-либо положительную ценность. Ведь и волки во время наводнения взбираются на один холм с ягнятами; значит ли это, что они друзья?..

Такое же случайное, даже насильственное соединение неоднородных элементов вижу под покровом слова «интеллигенция». И не только в силу указанных выше соображений порядка нравственного, общественного представляется мне ложным такое объединение под общим термином, но и в силу соображений чисто умственного характера, то есть таких соображений, которые, казалось бы, больше всего должны играть роль в таком слове, как «интеллигенция». В самом деле, когда мне под одной кличкой преподносят профессора философии Ильина и барышню, которая в каком-нибудь «Субвохозе» на машинке стучает, а вечером посещает балетную студию, – воля ваша, я не понимаю такого объединения. Он интеллигент и она интеллигентка? Позвольте, что же в них общего? Ведь слово это указывает на свойства умственного порядка (хотя часто слышим мы и такое выражение: «он, судя по одежде, интеллигент»). Так в чем же одинаковость профессора Ильина и барышни – машинистки – балерины? Оба не безграмотны. Но право же, этого недостаточно, чтобы быть одного поля ягодами.

Я немножко ушел в сторону, но трудно не блуждать вкось и вкривь, когда сам предмет кривой. Да, умственное развитие и образование у нас выводили, выбрасывали людей из той самой жизни, которая больше всего в них нуждалась. У нас никогда не было настоящего представления о труде; думали, что есть труд благородный и неблагородный; не понимали, что труд сам по себе благороден. Оттого отчуждение, оттого люди друг друга чурались. Я знал во Франкфурте сапожника; у него было три брата: один был инженер, другой был профессором, третий, старший, наследовал хозяйство отца в деревне и был крестьянин. На Рождество братья съезжались к старшему. Никому, конечно, в голову не приходило деление семьи на интеллигентных и неинтеллигентных. Сословность умственного развития, – какое безрассудство?..

Вернемся вспять, к министерству народного просвещения. Аппарат, созданный при Александре II железною рукой графа Толстого, никого не удовлетворивший, всех озлобивший, при Александре III перешел в мягкие руки Делянова. Иван Давыдович был удивительное явление в русской чиновной летописи. Чем он взял? За что выдвинулся, дослужился до Андрея Первозванного, до графского титула? Он рос, как растет дерево, – не в силу каких-либо заслуг, а в силу растительной инерции. Его мягкость, слабость, безволие – уж не знаю, как назвать – нельзя даже описать. Мой отец говорил, что если бы компромисс не существовал, то Иван Давыдович его бы выдумал. Нам, детям, всегда было тяжело сознание, что отец

состоит товарищем при таком министре. Как сейчас помню, – когда отец получил предложение. Мы обедали в Павловке, «под дубами», когда подали телеграмму. Отец распечатал, сказал: «От Делянова» и передал матери. Помню, что был кто-то посторонний и потому я по-французски спросил: «Предложения товарищества?» Отец кивнул. Он не долго колебался. Он пробыл на этом посту лет двенадцать.

Это было грустное время – мало удовлетворения и очень сомнительный почет. Отец и сам это ощущал, однако для него дисциплина служебная была на первом месте, и он никогда не высказывался. Не то грустно было, что Делянов был тряпка, что ни одного вопроса он не умел отстоять, в заседаниях дремал, а на приемах у себя щипал себе бровь, чтобы не заснуть, но то было печально, что Делянов являлся типическим представителем того умственного направления, которое во время Александра III создалось под кровом все-мощного тогда обер – прокурора Святейшего Синода Победоносцева. Уваровская формула «православие, самодержавие и народность», которая в первые времена провозглашалась с трубным гласом, так сказать, при веянии знамен, понемногу принизилась, упростилась; из политического гимна она превратилась в школьную прибаутку. Смещение принципов национального и религиозного достигло последних пределов уродства. Только православный считался истинно русским, и только русский мог быть истинно православным. Вероисповедной принадлежностью человека измерялась его политическая благонадежность. Ясно, что такое отношение к важнейшим вопросам духовной жизни низводило их на степень чего-то служебно – зарегламентированного, в чем проявлению личности не было места и в чем открывался необъятный простор лицемерию. И вот, я не могу иначе назвать всю тогдашнюю систему, как школой лицемерия. Это было политическое ханжество, в предмет которого никто в душе своей не верил. Удивительно, как ложная постановка этих вопросов приводила прямо к какому-то искажению мысли.

Помню такой случай. Инспектор Ларинской гимназии, Константин Матвеевич Блумберг, был представлен к директорству. Великолепный эллинист, отличный педагог, очень уважаемый человек, кажется, все, что нужно. Вдруг осечка – он лютеранин; официально это называлось – «иноверец». Долго это длилось. Помню, он мне сказал, когда зашла об этом речь: «Не могу же я менять религию, чтобы получить повышение по службе». Наконец он был назначен. Как раз в это время бывшая моя гимназия справляла какой-то юбилей. Поднимаюсь по лестнице с Блумбергом; обгоняет нас чиновник министерства Анашкович – Яцына, человек близкий к канцелярии министра, хорошо знающий, куда ветер дует и как нос держать. Подает Блумбергу руку, шумно поздравляет с назначением и в конце комплиментов прибавляет: «Ну и вас, конечно, уже никак нельзя причислить к иноверцам». Если он мог так говорить, то не мог же он этому верить. И однако, до таких aberrаций умственных, до таких изворотов нравственных доводила людей тогдашняя формула политической благонадежности и стремление ей угодить. Угождение стало нервом деятельности. Можно себе представить нравственный уровень таких людей. Есть глубокая связь между разумом и совестью; я думаю, что нельзя поддерживать абсурд, не кривя душой, и кто сознательно погрешает против логики, тот неминуемо грешит против совести.

Весь этот логический и нравственный ужас, обнимавший тогдашнюю жизнь, мало кем ощущался. Люди, его творившие, жили в ими же создаваемой атмосфере и, как рыбы в воде, не замечали, что мокро. Другие просто шли по проторенной дорожке и не рассуждали. Очень тяжело было нам, детям, видеть, что отец наш принадлежал к последним и в своих убеждениях был стоек и непоколебим; мать же моя дышала чистым воздухом незатемненной логики и свободной личности. Эта двойственность в родителях определяла собой ту нервность, некоторую полемичность, с которой семья наша переживала события жизни общественной и политической. Должен сказать, что все мы, дети, оставаясь в согласии с нашей природой, думали и чувствовали так, как думала и чувствовала мать. Ничего не хочу здесь

сказать неблагожелательного по отношению к отцу, но он любил службу; выходец из Сибири, сын государственного преступника, он с первых шагов службы заявил себя и до конца дней своих остался человеком правительства; в нем никогда не было фронды. А затем скажу: это был самый нефилософский ум, какой я знал; обобщение было для него неприятно, почти синоним верхоглядства; для него факт был фактом, почти никогда симптомом; во всяком случае, в вопросах, над которыми он не задумывался, симптоматичность факта для него не существовала.

Я сказал, что Делянов был типический представитель тогдашнего политически – умственного трафарета. Вот маленький случай, крохотный случай, но и крохотный признак может быть симптомом серьезной болезни. Я был назначен комиссаром министерства народного просвещения на выставку в Чикаго в 1893 году. Помогал мне в собирании материала старичок Сентилер, чиновник министерства. Когда я взялся за дело, он показал мне уже до моего вступления утвержденную министром виньетку, которою предполагалось украсить переплеты посылаемых на выставку учебников. Виньетка была довольно милая: посредине щит с белым пространством для занесения на него заглавия книги, кругом дубовые и лавровые листья, в нижней части земной шар, и видна на нем Россия, наверху – двуглавый орел и над ним в лучах сияющий крест. Этот крест на обложке латинских и греческих грамматик, учебников математики, химии, естественной истории не давал мне покоя. Между тем рисунок утвержден министром; имею ли право изменить? А просить разрешения – может целый скандал разыграться. Наконец собираюсь с духом, отправляюсь в картографическое заведение Ильина.

– У вас рисунок для книг министерства народного просвещения, которые посылаются на Чикагскую выставку?

– У нас.

– Еще не отпечатан?

– Нет еще.

– Можно маленькую перемену внести?

– Сделайте одолжение.

– Так вот, пожалуйста, вместо креста поставьте императорскую корону.

Когда я передал о своем распоряжении старичку Сентилеру, он покачал головой: «А Ивану Давыдовичу так понравилось. Он сказал, что так хорошо, что крест, – православная Россия». Ведь вот что получается, что крест, символ вселенского христианского единения, монополизируется как символ исключительного народного избранничества. Чувствовал я, как и всегда, когда говорил с чиновником иностранных кровей, что в Сентилере в ту минуту было два существа: человек и русский чиновник. Первый меня одобрял, второй покачивал головой перед моей слишком легкомысленной правдивостью. В тот же вечер я рассказал отцу о моем превышении власти; он только сказал, что «ничего», и не сделал ни одного замечания.

Что бы сказал сам Делянов, и не придумаю. Это было такое безразличие ко всему! Когда ему что-нибудь рассказывали, докладывали, он, пощипывая бровь, только повторял гнусавым голосом: «Да, да, да, да». Маленький, низенький, с крючковатым носом, лысый совершенно и только с несколькими волосами, которые он зачесывал из-под воротничка, он двигал челюстями, жевал губами, но почти не говорил. Однажды был в Петербурге всемирный конгресс врачей. Приходит к нам кто-то и с важностью сообщает:

– Иван Давыдович открывал конгресс и сказал речь по-латыни.

– Что ж, – говорит мой брат Петя, – а вы думали, что он заговорит на живом языке...

Однажды он был болен. Справляются у одного чиновника: как Иван Давыдович? «Ничего, слава Богу. Значительно поправился; еще не все бумаги читает, но уже все подписывает».

Приспешники говорили о доброте Ивана Давыдовича; но в широких кругах эта репутация не могла держаться. Все знали, что он охотно обещает, но редко выказывает ту же охоту в выполнении. Одна моя знакомая из города Борисоглебска, очень энергичная особа, поехала в Петербург хлопотать за детей – сирот одного доктора. Делянов слушал, обнадеживал и наконец сказал: «Ну, хорошо, я запишу». Вдруг, как ужаленная, она выставляет свою руку между его рукой и блокнотом:

– Нет, только не записывайте!

– Почему?

– У нас в провинции говорят, если кто попадет на вашу записку, то уж наверное ничего не выйдет.

– Ну, тогда вы дайте мне записку.

На этот раз обещание было исполнено.

Два случая припоминаю из рассказов отца.

Однажды в Государственном совете Победоносцев говорил длинную речь, в которой критиковал представленный Деляновым проект. Отец сидел тут же, наклоняется к Делянову:

– Иван Давыдович, ведь он проваливает наше дело, что же вы не отвечаете?

– Ну что старика обижать...

Иногда он бывал в благодушно – учительском настроении и как искушенный опытом мудрый старец наставлял отца в служебных приемах, охлаждал его пыл: «Ах, князь, вы все думаете, что дважды два четыре, а оно часто, очень часто бывает и пять, а в ведомстве императрицы Марии дважды два всегда пять». Ну разве не верно, что он выдумал бы компромисс, если бы его не существовало? Он был апостол компромисса.

Вокруг Делянова группировалась затхлость – люди, боявшиеся носом двинуть, пока не почуют ветра, люди, не имевшие убеждений, но говорившие как убежденные. Всесильной пружиной министерства был директор департамента Николай Милиевич Аничков, человек себе на уме, двуличный, с чрезвычайной выработкой внешних приемов и с темной душой. Он был обязан своим служебным продвижением моему отцу, который ценил его «деловитость». Он гнусно отплатил ему за покровительство. Когда он уходил из департамента, получив пост товарища министра (отец уже был не у дел), он говорил речь провожавшим его сослуживцам. Я, как причисленный к министерству, пошел на эти проводы против воли, но чтобы удовлетворить желание отца; и не пожалел. Он говорил речь, в которой сделал обзор всем деятелям министерства за его время. Чередовались портреты с эпитетами глубокомысленными, произнесенными с таинственностью, в которой трудно было отличить благоговение от иронии. Он давно уже в своей речи спустился от высших чинов министерства к скромным деятелям департамента, когда мой сосед нагнулся ко мне и сказал: «Неужели он так и не назовет вашего отца?» Так и не назвал. Он стал обходить присутствующих; два раза ему лежал путь на меня, он делал вид, что не видит, и сворачивал. Тогда я сам пошел на него. Он поднял брови и с снисходительным удивлением молвил: «Ах, князь!» Как будто за этим следовало – «и вы тут!» «Да, счел долгом поблагодарить вас за всегдашнее внимание. Знаю, что обязан им не себе, а тем отношениям, которые связывают вас с моим отцом». Скушал. Я повернулся и ушел. Несколько человек из министерства поехали прямо к моему отцу выразить свое сочувствие и – негодование. Последнее приняло такую огласку, что Аничков почувствовал потребность написать отцу. В этом письме он извинялся за забывчивость и сваливал вину на свое волнение...

Ужаснейший тип, совершенно ничтожный, но тем самым типичный, был Иван Петрович Хрущев. Он был отвратителен на вид – какой-то курчавый клоп; в нем было что-то и от жабы; елейные приемы и мелко – злющее нутро. Нежданно для всех и для себя он получил назначение попечителем Харьковского учебного округа. Вот случай, который мне рассказывали. На каком-то концерте или общественном балу в Харькове Хрущев замечает студента,

который, в то время как все прочие отвешивают ему поклоны, стоит, невозмутимо озирая и толпу и его. Несколько раз он проходил мимо непочтительного юноши и наконец не выдержал; подходит и самым язвительным тоном, на какой только способна его мелкая природа:

– Позвольте, молодой человек, представиться: попечитель здешнего учебного округа.

– Очень приятно. Такой-то, студент Московского университета.

Время, о котором пишу, – восьмидесятые годы, – было трудное для человека с ясным, не насильственным сознанием. Как оно перейдет в будущее, как будут подведены ему итоги, и будут ли когда? То, о чем говорю, сторона жизни довольно трудно уловимая для того, кто сам в то время не жил. Вряд ли проникли в какие-нибудь серьезные книги те умственные течения, которыми определялось и самооправдывалось тогдашнее мировоззрение в области гражданского воспитания. Серьезные люди науки его не разделяли; критиковать было невозможно. Только обратным путем, так сказать «от противного», можно из некоторых писаний вывести картину того, что было обиходным тогдашним мышлением в правящих сферах – из того невольного полемического характера, которым проникнуты они, из той настойчивости, с которой доказываются очевидности. Все работы Владимира Соловьева в кругу вопросов о национальности и национализме не что иное, как полемическое выступление во имя духовной, научной и житейской правды против официально утвержденных образцов.

Избранничество русского народа перед всеми другими, национальное самомнение, утрата национальной объективности в суждениях и замена ее националистической субъективностью, смешение принципа религиозного с национальным и отсюда оправдание политических преследований в делах веры, постепенное выделение идеи «народа» не как общей государственной массы, а как культурно незатронутой обособленности, носительницы специальных даров, внушающей бережность к этой самой незатронутости и в конце концов – священная идея «народа – богоносца» и какой-то духовный культ духовной некультурности. Вот что понемногу вырабатывалось, вот что двигало тогдашними отношениями к вопросам жизни общественной и государственной; все это проникало собой тогдашние официальные теории воспитания, тогдашние мероприятия и даже тогдашнее законодательство. Большой грех на душе тогдашних людей – они играли в опасные игрушки. Понятно, что подобные начала не могли найти места в сколько-нибудь серьезных трудах, – они исповедовались людьми неспособными на серьезное мышление. Поэтому не в книгах найдут будущие следы формулы тогдашнего чиновного миропонимания, а в брошюрах, в юбилейных речах, в протоколах заседаний, в циркулярах.

Что увеличивало отрицательный характер всего этого, – та неискренность, которая владела всеми говорившими. Люди так говорили не потому, что так думали, а потому, что так было нужно говорить, чтобы быть одобренным, чтобы выделиться, чтобы попасть в число «кандидатов». Все это было совершенно лишено той горячности, которою дышит всякая искренняя проповедь. То, что провозглашалось, провозглашалось как учительство, назидание, с поднятым указательным; и все, что говорилось, было прилажено к пониманию «малых сих»; все это было *ad usum Delphini*. А сами говорившие были авгуры, друг другу внутренне подмигивавшие.

Однажды в Государственном совете, а может быть, в выделенной из Государственного совета комиссии для рассмотрения вопроса о сокращении праздничных дней зашла речь о том, что следует положить предел возникновению праздников, нецерковных, но с религиозным характером, по случаю разных событий возникающих. Вопрос **обсуждался** очень непринужденно и клонился в сторону сокращения. Но вдруг кто-то, очевидно из чиновно мыслящих и благонадежно верующих, говорит: «А как же такие случаи, как 17 октября?» (То есть избавление царской семьи во время крушения поезда на станции Борки.) «Ну да ведь это единичный, даже единственный случай», – возражают ему. «Позвольте, он может повториться». Маленькая заминка; собрание смущено. Оратор настаивает: «Ведь чудо

всегда может повториться». Кто-то отвечает: «Если чудо, то конечно». «Ну, понятно, – говорит другой, – когда чудо, то о чем же говорить». Голоса все громче, все свободнее, неловкость прошла, у всех отлегло. Так и постановили, что когда чудо Божие, то – праздник. Это мне рассказывал мой друг князь Александр Андреевич Ливен, о котором скажу ниже. Разве не авгуры? И как близка эта серьезность от шуташничества, и как близко это. лицемерие к провокации...

Я сказал, что это было время игрушек, опасных игрушек. Об одной такой игрушке здесь расскажу, – маленькой игрушке, но типической и которой в правительственных кругах придавали серьезное значение.

Был в Петербурге такой генерал Богданович. Он был ктиторм Исаакиевского собора и составил себе имя благодаря картинкам для народа, которые сочинял на разные события политической жизни, раздавал на паперти собора после обедни, рассылал в другие церкви, в другие города. Человек богомольный, можно сказать, лбом достукавшийся до заметного положения в кругах правительственных и чиновного духовенства. У него бывали, с ним советовались. Он жил в известном доме Мятлевых, красном доме на углу Исаакиевской площади и Почтамтской улицы, и часто можно было видеть у подъезда с колоннами запряженную четверкой цугом митрополичью карету.

«Картинки генерала Богдановича» – это документ тогдашней летописи. Опишу вам одну из них – по случаю учреждения Крестьянского банка. По пашне, за сохой, за своей лошадежкой идет мужичок; вдали село, церковь. Он остановился и смотрит вверх. Там, в лазури небесной, висит русский государственный герб; двуглавый орел веревочками подвезан к распростертым крыльям белого голубя Св. Духа. Мужичок осеняет себя крестным знаменем. Внизу соответствующее стихотворение о том, что царь позаботился о крестьянине; стихотворение в обычно присущем этой литературе тоне елейно – умильной слащавости.

Такие картинки рассылались по лицу земли родной, и раздача их приобрела характер события. В газетах появлялись телеграммы: «После обедни на паперти собора роздано народу столько-то тысяч картинок генерала Богдановича. Народ с интересом рассматривал и с умилением читал».

С трудом верится, но этим игрушкам придавалось серьезное значение. Я сказал одному товарищу министра внутренних дел:

– Ну как вы можете не только поощрять, но выносить нечто подобное?

– Что ж поделаешь, – отвечал он, – это у нас единственное средство борьбы с подпольной литературой.

Какая слабость – думать, что это есть сила... Но генерал Богданович был величина; его завтраки славились; на какой-то свой юбилей он получил Высочайший рескрипт. Всем было известно, что он беззастенчивый взяточник; он торговал своим заступничеством перед сильными мира сего. Один родственник его жены передавал мне как достоверный такой факт. Богданович ждал какого-то просителя, очень богатого и очень в его заступничестве нуждавшегося. Он научил своего сына (кажется, он был офицер) войти к нему в кабинет и при посетителе рассказать, что он соблазнил девушку и что отец девушки требует с него выкупа...

Богданович был одним из тех удивительных явлений, которыми довольно богато последнее двадцатилетие нашего императорского периода. В какой-то пьесе Островского сваха говорит, что нонче можно, не служа, в генералы попасть. Целый ряд людей, не занимавших никакого служебного положения, достигли высокого звания царских советчиков; одни пользовались официальным признанием, другие находили возмещение за отсутствие гласности в большей близости к личности царя. Таковы: князь Мещерский, издатель «Гражданина», генерал Богданович, оккультист француз Папюс, заменивший его, чуть ли не парикмахер, Филипп, предсказатель погоды Демчинский, темный князь Андронников и,

наконец, – Распутин. Интересная галерея для будущего историка. Это, конечно, ступени, которыми самодержавие сходило в могилу...

По поводу Богдановича припоминаю такой еще случай. Это было весной 1900 года. Тогда государь с императрицей проводили Страстную неделю и Пасху в Москве. Газеты проливали слезы умиления, «Московские ведомости» печатали статьи под заглавием «Царь посреди народа», в то время как в Петербурге известной ядовитостью своей рифмы поэт Владимир Мятлев писал:

В Москве столпотворенье,  
В Кремле мироваренье.

Не мог же генерал Богданович не откликнуться. Появилась картинка, где в середине был изображен Успенский собор в пасхальную ночь, а кругом медальоны, изображавшие разные моменты царского говения; между прочим – государь на коленях под епитрахилью священника в момент отпущения грехов. Я был в Москве в то время: я был директором театров; на Пасхе государь бывал в театре. Когда я увидел это новое изобретение богомольного генерала, я полетел к Александру Александровичу Мосолову, директору канцелярии министра Двора. «Да, – сказал он, – мне тоже это показалось неудобно, но барон Фредерикс сказал, что, как лютеранину, ему неловко высказываться отрицательно по таким делам. Разрешение на выпуск картинки было дано. Через два дня кто-то опять говорил с бароном, он приказал задержать, но было уже поздно: картинка вышла и раздавалась». Удивительно было то, что никто как будто не удивлялся; люди религиозные не возмущались, люди правительственные находили это естественным. Отец мой, когда я рассказал ему, сказал:

- Что ж тут удивительного? Крестьянин должен знать, как государь говеет.
- Почему же ему не знать, как говеет исправник?
- Это он и так знает.
- Значит, он знает и то, как государь говеет.
- Нет, не знает.
- Все люди одинаково говеют.
- Ну вот это и надо, чтобы он знал.
- Он это знает и без кощунственных картинок генерала Богдановича.

Есть споры, которых не следует начинать; и если они начались, то велика заслуга того, кто первый прекращает. Мой отец всегда первый прекращал. Когда же я прекращал (не ставлю этого себе в заслугу), я делал вид, что соглашаюсь или вроде того. Это давало моему бедному отцу повод считать меня податливым, мягким, «добрым», в то самое время как в сознании моем доводы вставали и щетинились как стальные лезвия... Так выработывалась жизнью двойственность характеров, двойственность отношений. Понемногу все люди для меня стали делиться на тех, кто это понимает, и тех, кто этого не понимает. Может быть, и читателю моему не совсем еще ясно, что я разумею под словом «это»? Нужно было жить в то время; но и нужно было чувствовать; кто прочувствовал, тот поймет с полслова, а для тех, кто сами не прошли через муки того времени (а таковы, я думаю, будут большинство моих читателей, если когда-нибудь у меня читатели будут), так для тех, думаю, из последующего моего рассказа многое выяснится, и обрисуется, надеюсь, та атмосфера, в которой протекала наша молодость в восьмидесятих годах.

## Глава 4

### Единомышленники

Хочу назвать некоторых людей, которых вспоминаю и всегда буду вспоминать как единомышленников в области вопросов, о которых говорил. Это поспособствует и разъяснению самих вопросов.

Прежде всего мой близкий друг Петр Петрович Извольский. Мы были товарищи по университету; мы были филологи – он по средней истории у профессора Васильева, я, как уже сказал, по романским языкам у Александра Николаевича Веселовского. Из всех людей моего поколения я, может быть, ни с кем не сходилась в такой полной одинаковости интересов, суждений, оценок.

Странно, я никогда не мог сходиться со сверстниками. Хорошо помню, что в ранней молодости я сам себе казался много моложе их, я считал себя отставшим; а во второй половине жизни то же чувство молодости, которое тогда держало меня, как бы сказать, на запятках, вдруг выдвинуло меня на двадцать лет вперед – точно природа приберегала меня, и когда она меня выпустила, мои сверстники вокруг меня были старики. С Извольским я всегда чувствовал себя одного возраста, хотя он был тремя почти годами моложе меня. Последнее зависит, с одной стороны, от той особой молодости, которую угодно было природе наделить меня, а с другой стороны, от того, что он был отцом семейства, проделал длинную, тяжелую служебную карьеру, да и здоровьем не был крепок. Начав с инспектора народных училищ, он был попечителем, товарищем министра народного просвещения и в первое десятилетие Николая II в течение двух лет даже обер – прокурором Святейшего Синода.

Попав в самые затхлые два ведомства, он сохранил неослабную ту свежесть впечатлений и ту чуткость в соприкосновении с чужою совестью, которые так затапывались тогдашней официальной современностью. Вот что более всего привязывает меня к нему. Теперь, озираясь на длинный ряд годов нашего умственного общения, ясно чувствую, что не то ценно, что на заре юности мы вместе упивались литературой и поэзией, что под руководством моей матери читали вместе Данте в подлиннике, что он знал и любил Италию так же, как я, а то, что в водовороте служебном, соприкасаясь с вопросами народности и вероисповедности, щекотливость которых так сильно проступает, с такой жестокостью обостряется на почве воспитания, он никогда не отказался от своих принципов, никогда не пожертвовал требованиями человечности в угоду чиновничьего кодекса. Когда он уезжал на одно из своих мест служения, мать моя, прощаясь с ним, сказала: «Et restez propre» (и оставайтесь чисты). Он остался. Инспектором в Киеве, впоследствии там же попечителем, при таких представителях власти, как граф Игнатъев и генерал Драгомиров, он смело заступался за право сектантов на свободное исповедание своих религиозных убеждений. Попечителем в Риге он заслужил благодарную память балтийцев в то самое время, когда в петербургских «сферах» шла травля на окраины, поднимала голос проповедь человеконенавистничества.

По этому поводу припоминается мне один его рассказ. В каком-то заседании он сидел рядом с министром народного просвещения Кассо. Рассматривался вопрос о языке в народных школах юго – западной окраины. Кассо настойчиво требовал введения преподавания в самых младших классов исключительно на русском языке. Извольский, сидевший с ним рядом, наклоняется к нему и вполголоса спрашивает:

- Ведь, кажется, у вас в Бессарабии имение?..
- Да.
- Что же, крестьяне понимают, когда вы с ними по-русски говорите?
- Ни слова.

Петя Извольский женат на княжне Марии Сергеевне Голицыной, дочери известного Сергея Михайловича, которому принадлежали знаменитые подмосковные Кузьминки и Дубровица. Она была прелестный человек и мужу своему настоящая спутница жизни. Они на фоне петербургского чиновничества выделялись; они были чужды снобизма в какой бы то ни было форме. В их семье царил чистый, ничем не зараженный воздух, куда бы ни забросила их судьба; все равно как в доме их, где бы они ни устраивались, – в скромной ли квартирке на Моховой, в обер-прокурорских ли палатах на Литейной, – у них всегда веяло чистым воздухом деревни: ситцевые занавески, белая балконная мебель. Судьба часто нас разлучала: они жили на окраинах, я в Петербурге, за границей или в деревне. Но долгие промежутки времени не клали никакой прослойки в отношениях, и мы встречались, как будто разошлись вчера.

Как я рад, что мне довелось хоть раз побывать у них в деревне, в дивной их Голуни, Тульской губернии, Новосельского уезда. Прелестный старый дом с колоннами издали виднелся за кудрявостью лесной; красивая внизу круглая гостиная и такая же над ней во втором этаже спальня. Я попал на освящение школы. Редко видал более обильное, более разностороннее излучение, чем то, что исходило от их дома во все стороны. Теперь там не осталось камня на камне...

Там была прелестная местность: три реки, много источников. Помню красивую картину. Мы с Извольским шли по берегу реки, краю воды. В стороне от нас, повыше, шел статный крестьянин с котомкой за плечами. Вдруг он очутился перед небольшой лоханью в крепком песчанике; круглая лохань у ног его была глубокой темной воды, и светлой струйкой эта вода сбегала вниз, мимо нас в реку. Странник снял со спины котомку, положил наземь, осенил себя широким крестным знаменем, стал перед водой на колени, уперся руками в края лохани и, припав широкой грудью к светлой глади темной воды, стал пить студеною струю. Никогда ни одна картина, ни одно произведение искусства не давали мне такого сжатого слияния человека, Бога и природы. Все вдруг слилось и в этом слиянии получило смысл...

В последний раз я видел Извольских в Ялте в феврале 1917 года, накануне «мартовских событий». Они были заняты устройством только что приобретенной ими маленькой дачки...<sup>1</sup>

Другой мой приятель, заслуживающий упоминания, князь Эспер Эсперович Ухтомский, тоже товарищ по университету, филолог – по философии. Это странная фигура. Что-то обаятельное по природным данным и вместе что-то раздражающее, способное в отчаяние привести по практической неприложимости. Маленький, сутуловатый, с беспорядочными черными волосами, очень неряшливый во внешности своей, он говорил как-то мелко, рубленно и с преимущественным уклоном к анекдоту. В силу последней привычки он бывал иногда забавен, иногда несносен. Чрезвычайно начитанный, с красивым поэтическим талантом, он, однако, ничего не сделал. Мы долго взирали на него как на человека, который скажет свое слово, заявит о себе. Но он так и остался при обещании. Как в стихах своих он никогда не мог удержаться в рамках выбранного им размера, так и вся жизнь его была полна перебоев. Про него можно сказать то, что говорили про члена французской палаты Дешанеля: «Блестящая будущность за спиной». Только Дешанель все-таки побывал президентом республики; правда, он кончил печально: как известно, он в припадке нервного возбуждения выскочил из вагона на полном ходу; подобравшая его жена стрелочника дала телеграмму, что выскочил из поезда какой-то сумасшедший, который воображает себя президентом республики... Но Ухтомский остался за флагом.

---

<sup>1</sup> Это писалось в Москве. С тех пор, после моего бегства из большевистского плена, мы встретились в Париже. Они тоже бежали и после невероятных мытарств жили в Париже в большой нищете. Там Петр Петрович Извольский принял священство. Он назначен настоятелем православной церкви в Брюсселе.

Одно время он всплыл довольно своеобразно на поверхности общественно – государственной. Наследник, будущий Николай II, отправлялся в кругосветное плавание. Нужен был человек, который бы мог служить путеводчиком и впоследствии составить описание путешествия; прежде бы сказали – «историограф». Моя мать через свою тетку княгиню Елену Павловну Кочубей, в то время бывшую обер-гофмейстериней при императрице Марии Феодоровне, обратила внимание на Ухтомского. Он был назначен в свиту наследника. Впоследствии вышла его книга, громоздкая, тип русского «роскошного издания»: огромный формат, лоснящаяся бумага, тисненый коленкоровый переплет и безвкусные иллюстрации Каразина. В пути установились у наследника довольно близкие отношения с Ухтомским; эти отношения продолжались и по возвращении и не прекращались первое время по воцарении. Многие возлагали надежды на эту близость. Ухтомский в то время был редактором «С. – Петербургских ведомостей». Государь сказал ему, что будет читать его газету каждый день.

Газета Ухтомского была единственная, касавшаяся вопросов инославия и иноверчества в тех пределах безбоязненности, которые вообще были допустимы по тогдашним цензурным условиям. Кроме того, Ухтомский имел разрешение письмом испрашивать себе свидания. Он вкладывал свои письма в номер газеты, который посылал государю. Много «истин» доходило таким путем до уха царского, но все-таки ничего из этого не вышло. С одной стороны, все разбивалось о безразличие, которым отличался характер государя, с другой, и сам Ухтомский себе повредил. Его сгубил – анекдот. Ведь анекдот хорош между двух людей одинаково мыслящих; тогда он является сокращенным способом общения, избавляя от чрезмерно подробного изложения. Но когда говоришь с человеком, который, что называется, «не в курсе», анекдот и не убедителен и не смешон – он надоедлив. И я думаю, Ухтомский в Царском просто надоел.

В обществе, однако, его полуофициальные посещения царского дворца возбуждали пересуды; никто, собственно, не знал ни цели их, ни результатов, если таковые были. Расскажу здесь один любопытный случай. Был в Петербурге известный публицист, фельетонист Амфитеатров; он писал в газете «Россия», в то время соперничавшей с «Новым временем». Кажется, это было в 1903 году зимой, но поручиться не могу. Когда-то все это было у меня записано – со всеми именами, всеми числами; пять тетрадок было у меня. Но все мое у меня было отобрано и уничтожено... Так вот, однажды утром весь Петербург был всполошен фельетоном «России» – «Семейство Обмановых». Рассказывается жизнь молодого помещика, живущего в уединении, и кого он до себя допускает. Всякий сейчас же под Обмановыми подставит Романовых. Слишком все было ясно; под видом дядек, лакеев, кучеров проходили портреты государственных деятелей. В числе прочих навещавших нелюдимого помещика был «мальчик – стрелочник», живший под насыпью железной дороги и вечерами тайком забегавший в барский дом с заднего крыльца. В этом стрелочнике все узнали нашего Эспера. Удивительно, что, несмотря на такую прозрачность, цензура проморгала, и министр внутренних дел Сипягин узнал о фельетоне от австрийского посла. Весь день царил переполох. Номер «России» возрос до баснословной цены. Говорят, Амфитеатрова сполнили сотрудники, чтобы вырвать у него рукопись. Помню, вечером был бал у Орловых – Давыдовых в их великолепном доме на Сергиевской; был государь и весь двор. Все только об этом шептались, что вносило неловкость в общее настроение, тем более вследствие присутствия царской семьи, а также иностранных представителей. Но тут же скоро распространилось, что Сипягин доложил государю, что он распорядился выслать Амфитеатрова в Вятскую губернию, и что государь ответил: «И прекрасно сделали».

И все-таки раза два – три наш скромный «стрелочник» получал и исполнял официальные поручения дипломатического характера. Он всегда питал тяготение к Востоку, знал дальневосточные страны, и этой его склонностью государь несколько раз пожелал воспользоваться. Однажды он ездил в Тибет вести переговоры с Далай – Ламой, другой раз был во

главе почетного посольства к Богдыхану; он состоял при Лихунг – Чане, когда тот приезжал на коронацию, и даже был послан навстречу ему в Аден. Восточные люди любили его, он умел с ними говорить: что было в нем детского и молодого, как-то встречалось с тем, что в них есть мудрого и стародавнего. Из своих путешествий он привозил ценные подарки и приобретения; его коллекция буддийских идолов была впоследствии приобретена музеем Александра III. Его квартира на Шпалерной походила на какой-то храм: занавески, идола, драконы, бронза, яшма, нефрит, лак; в аквариуме крокодил. Все это могло бы быть смешно, но вокруг нашего «Ухтомчика» это была наивная сказка, а для посещавших его восточных людей это была близкая им родная действительность. Китайцы, тибетцы, сиамцы, индусы и наши буряты – все являлись к нему на поклон. Идолы и крокодил в их глазах свидетельствовали о его любви к Востоку, а портрет Лихунг – Чана, с собственноручной подписью по-китайски, свидетельствовал о том, что Восток его ценил...

По поводу Сиам маленький эпизод из путешествия наследника. Из всех государей Дальнего Востока наш Двор особенно благоволил к королю Сиамскому; ему желали оказывать преимущественное внимание. Князь Барятинский, сопровождавший наследника, вез ему знаки Андрея Первозванного в великолепной шкатулке, которую нес в руках, высаживаясь на берег. Сиам всегда сказка; можно себе представить, что такое Сиам, когда этот солнечный король принимает сына северного царя. Наследник со свитой высадились. Под золотыми арками расстилалось красное сукно, к по нем шел навстречу им сиамский король... с Андреевской лентой через плечо! Быстро Барятинский спрятал шкатулку в карман.... У нас по канцеляриям не значилось, или не справились о том, что сиамский король уже имел Андрея Первозванного...

Тут припоминаю рассказ, слышанный от испанского посла, маркиза Вилья Гонзало. Когда сиамский король со своим наследником объезжал европейские дворы, испанская королева – регентша за обедом спросила его:

– У вас есть и более старшие сыновья, почему же принц такой-то ваш наследник?

– Потому что те не королевской крови, они от придворных дам, а этот королевской крови – он от моей сестры.

Вернусь к Ухтомскому, чтобы сказать, что у него был прелестный сын Дий, умерший очень молодым. После него осталась вдова, дочь философа и поэта князя Дмитрия Николаевича Цертелева, близкого друга Владимира Соловьева. В последний раз имел известия от Эспера зимой 1919 года. Он писал из Царского Села, где жил в большом уединении и занимался исследованиями по русской истории удельного периода...<sup>2</sup>.

Александр Петрович Саломон был из числа самых близких друзей Владимира Соловьева. Человек глубокого философского образования, тонкого литературного вкуса. Он отлично владел стихом и оставил замечательный, к сожалению не конченный, перевод «Божественной Комедии», прямо жуткий по приближению к подлиннику. Его ум был несколько диалектичный, он любил спор ради спора. Он был во время турецкой войны ранен в обе руки, его мизинцы были сведены; когда он спорил, он поднимал руки, и эти оттопыренные кусочки мизинцев придавали что-то неприятно – педантическое всей фигуре спорщика, когда он был серьезен, но что-то мило – юмористическое, когда он смеялся. В нем было много юмора; он любил смеяться, но не скажу, чтобы он умел смеяться; у него было неприятное подергивание в лице, и смех, усиливаясь, переходил в подергивание и искажал его. Он был одно время управляющим тюремного ведомства. Помню по этому случаю, что во время студенческих беспорядков зимой 1899 года он получил от заключенных студентов благодарственный адрес за гуманное к ним отношение тюремного начальства. Любопытно,

---

<sup>2</sup> Когда перед бегством из России провел три месяца в Петербурге, он в то время заболел воспалением легких и скончался в половине ноября 1921 года.

что за то же самое он получил благодарность и от государя. Студенческие беспорядки 1899 года были значительны и серьезны по последствиям. Собственно, с тех пор волнение не улеглось. Кое-что о тогдашнем расскажу.

В то время был министром народного просвещения Боголепов, бывший попечитель Московского округа и рекомендованный в министры московским генерал – губернатором великим князем Сергеем Александровичем. За несколько дней до 8 февраля, когда справлялся университетский акт, государь выразил Боголепову надежду, что студенты в этот день не будут ходить через Дворцовый мост, распевать песни и вообще шуметь, так как императрица больна – это ее беспокоит. Боголепов передал желание государя ректору Сергеевичу. Сергеевич не нашел ничего лучшего, как вывесить в университете объявление о том, что студенты приглашаются не шуметь, а кто не исполнит, будет подвергнут мерам полицейского воздействия. Это, конечно, не остановило тех, кто хотел произвести шум, но разобидело тех, кто вовсе ни о каких демонстрациях не думал.

Уже давно наша университетская жизнь страдала от постоянного вмешательства политических протестов, нарушавших мирное занятие тех, кто хотел заниматься. Начальство принимало меры против революционных проявлений, но вместе с тем, по укоренившемуся по отношению к молодежи недоверию, не давало возможности здоровым элементам сплотиться для противодействия. В глазах начальства слово «студенты» имело огульный характер, и потому, когда выказывалась строгость к меньшинству, оскорблялось большинство. Настроение стало горячее, и начальство, в лице министра и попечителя округа Зверева, не решилось присутствовать на акте. Были почетные гости, министр финансов Витте, митрополит Антоний, но хозяев не было. Беспорядки выразились только в свистках при входе ректора на кафедру и выходом свиставших из залы. После этого все прошло гладко, даже по-семейному. Митрополит Антоний раздавал медали; сам потом рассказывал: «Подходит студент, я спрашиваю: вам какую? Говорит: золотую. Ну и даю ему золотую. А кто его знает, так ли...» Вот в каком духе прошел этот акт, которого так боялось начальство. Станные, разноречивые рассказы ходили тогда по городу. Будто, когда Боголепов пришел на доклад к государю, государь его спросил:

– Вы были на университетском акте?

– Никак нет, ваше величество.

– Ах, вы не были?..

Повернулся и ушел.

По другим сведениям, Боголепов объяснил государю, почему не был: что, предвидя беспорядки, он своим присутствием не хотел отягчать виновность студентов; государь будто бы нашел его действия правильными. Такое противоречие типично для Петербурга. И это не были пустые сплетни, а пересказы из достоверных источников: первый рассказ от обер – гофмейстерины, княгини Марии Михайловны Голицыной, второй от великого князя Сергея Александровича... Кому верить? Впрочем, область разговоров неинтересна, а после этого пошли уже факты прискорбные и разлившиеся последствиями своими по всем учебным заведениям Петербурга и всей России. По выходе из университета после актовой церемонии студенты были встречены на улице нарядом конной полиции. Их начали теснить, направлять на Неву; возникли пререкания, конный врезался в толпу, пошла руготня, свистнула нагайка, полетел камень – и в конце концов «беспорядок» разыгрался вовсю, всех повели и заперли в манеж. Обхождение конной полиции со студентами в этом случае было позорно; это я знал от свидетелей и пострадавших...

После этого беспорядки перешли уже в чисто политически – революционное движение, охватившее все высшие учебные заведения и перекинувшееся в другие города. Много тогда говорили об участии во всем этом агентов – подстрекателей. Пошли шумные сходки; стали разгонять, стали учебные заведения закрывать. Ища помещений для своих собраний,

говорят, в Москве студенты собрались однажды в Сандуновских банях и устроили сходку в бассейне для плавания; при выходе, в то время когда банщики их поздравляли «с легким паром», они были арестованы. Все это было началом того большого, грозного движения, которое с перерывами, то успокоения перед открытием Думы, то патриотического подъема в первые месяцы войны, продолжалось, собственно, в непрерывном возрастании и кончилось тем, что мы все теперь знаем...

Об этом вспомнил по поводу того, что Александр Петрович Саломон тогда в подведомственных ему местах заключения призревал провинившихся студентов. Возвращаясь к нему лично. В качестве сотрудника Ухтомского по редакции «С. – Петербургских ведомостей» он много содействовал нахождению материалов по интересовавшим нас вопросам свободы вероисповедания. Помню, однажды приезжий из Западного края рассказал, что в одной деревне, где население смешанное, православные и католики, справлялся праздник, во время которого, по местному обычаю, совершалось в реке благословение рабочего скота. В этот раз православный батюшка замешкался в соседней деревне; уже день клонился к вечеру, и крестьяне загнали свою скотину в реку заодно с прочими под благословение ксендза. На другой день становой пристав составил протокол на ксендза – «за благословение православного скота». Я умолял Саломона принять от меня корреспонденцию об этом случае. Он не соглашался; он находил, что это слишком горькая пилюля для гражданской власти. Тогда я принес ему корреспонденцию, так сказать, с другого конца – будто бы писанную человеком, который восхищается, умиляется этим случаем. Я думал, не пройдет ли горькая пилюля под сладкой облаткой. Но он и на это не согласился. Он был очень осторожен и, как человек служащий, знал, что можно и что нельзя.

Я назвал три центральных имени нашего немногочисленного кружка. Той же умственной дорогой, тем же душевным руслом шли многие другие, вокруг них тяготевшие. Был Александр Столыпин, брат знаменитого Петра Аркадьевича, тоже писавший в газете Ухтомского. Его впоследствии переманило «Новое время», где он стал писать маленькие ежедневные «заметки», за что получал значительное по-тогдашнему содержание. Но он разменялся на мелкую монету, исписался в каламбурах и ничем себя в жизни общественной не проявил. Он обладал прекрасным даром стихотворства, писал настоящим стихом пушкинской традиции. Язвительный в сатире, он заставлял нас хохотать на ужинах и пирушках своими экспромтами. Но в литературе его имя не останется.

Вообще, озираясь на наше поколение, изумляюсь бесплодности его. Это были ненужные люди. Их мысли – это была живая вода, но они падали и уходили в песок; их чувства были непонятны окружающим, часто смешны; их дарования были неприложимы. Когда я говорю, что они были не нужны, то не с общечеловеческой точки зрения говорю, даже не с точки зрения России, но в *тогдашней* России, среди тогдашних вершителей русской жизни они оказались не нужны. Не нужна ясность умственная там, где царствует туман, где начеку стоят оглядка и расчет; не нужна искренность там, где награждается лицемерие. И они были не нужны, а в глазах многих даже опасны...

Еще упомяну милого нашего «Ершика», Михаила Дмитриевича Ершова. Тонкого – претонкого ума и толстого – претолстого тела. Все он понимал, все ценное ценил, все достойное уважения уважал. Только высказывался он плохо, то есть очень метко, но подыскивал долго, и чем живее чувствовал, тем труднее говорил. Моя мать, очень ценившая его, называла его «*moineau constipe*» (воробей с запором). У него был прелестный смех, сдержанный, но из глубины. После университета он был инспектором народных училищ во Владимирской губернии. Но прямолинейность его природы недолго ужилась в тамошней тьме. Он был забавный рассказчик. Из уездной глуши Владимирской губернии он привез массу рассказов. Надо было бы тогда записывать...

Однажды в гостинице уездного города наш инспектор народных училищ, проснувшись, позвал служителя и приказал ему чай подавать. Служитель не двигается.

– Что же ты?

– Да я жду – с.

– Чего ж ты ждешь?

– Да чтоб вы встать изволили – с.

– Да я встану, а ты только чай подавай.

– Да как же я стол буду накрывать, покуда вы в постели?

– Да мне не мешает.

– А простыня ведь под вами – с.

Помню бесконечные рассказы о двух местных дамах. Одну звали Дудкина, а другую Куткина, и у Куткиной была дочь; их звали «Куткина мать и Куткина дочь».

Впоследствии Ершов унаследовал имение в Тульской губернии и стал помещиком и отцом многочисленного семейства. Его жена была небезызвестная по школьной своей деятельности Штевен. Каждый раз что он приезжал в Петербург, он поражал новым приростом своих размеров вширь; он был низкого роста, и мы говорили, что его поперечное измерение больше продольного. Летом 1916 года кто-то привез мне поклон от воронежского губернатора Ершова, а я и не знал, что он получил такое назначение. Больше о нем не слыхал и только на днях узнал от графа Сергея Львовича Толстого, что он был в Москве летом 1918 года, поехал на юг и умер от сыпного тифа.

Упомяну еще о князе Александре Андреевиче Ливене. Мы были знакомы в самой ранней юности, но судьба нас разлучила и свела только в конце девяностых годов, года за три до его смерти. После долгих лет разлуки, когда он жил в провинции, мы встретились на высочайшем выходе в Зимнем дворце. Он только что получил назначение директором Дворянского банка. Он был женат на Елене Петровне Васильчиковой, сестра которой, Мария Петровна, была за покойным Алексеем Стаховичем, о котором говорю в другой части моих воспоминаний, а младшая сестра, Евгения, вышла за моего брата Александра; ее покойный Стахович называл «мудрая».

Удивительная эта семья из пяти сестер. Оставшись без матери на попечении тетки, графини Марии Владимировны Орловой – Давыдовой, впоследствии игуменьи основанного ею монастыря Добрынихи, эти девушки, воспитанные в холе и роскоши, казалось бы, вдали от жизни, явили впоследствии, каждая в своем роде и под разным воздействием житейских условий, наилучший тип настоящей русской женщины. От детства к старости, от рождения к смерти шествуют они сквозь жизнь, ничего не обронив, ни от чего не отказавшись и все время утверждаясь, все время обогащаясь... Если не распространяюсь о них, как они того заслуживают, то потому, что мы в близком родстве.

Итак, Саша Ливен был женат на Олесе Васильчиковой; их помолвка даже совершилась в нашем доме, зимой 1883 года. Потом мы съехались весной, после коронации, в васильчиковском имении Коралово, Звенигородского уезда, на свадьбу Сашеньки Васильчиковой с Милорадовичем. Это была самая веселая свадьба, какую я видел. Была масса молодежи; все флигеля, чердаки, все закоулки были заняты. До поздней ночи стоял гвалт, утром возобновлялся. Главным запевалой был наш добрый товарищ Алеша Васильчиков. Огромный детина с серьгой в ухе; что-то бесшабашное, беззаветное было в его веселье и в его иногда очень косолапых шутках. Однажды мы, спавшие во флигеле, были утром разбужены его звонким смехом, кстати сказать, совсем своеобразным смехом, напоминавшим уток на пруде. Мы вскочили и увидели, что несчастный наш жених мечется по постели и трет себе глаза. Алеша посреди комнаты неистово квакал по-утиному. Оказалось, что он ему, сонному, насыпал на глаза березового толченого угля, какой употребляется вместо зубного порошка... Запомнилась мне одна прогулка поздней ночью. Мы встали с постелей и с песнями пошли и вошли в

поле ржи; она была совершенно мокрая от ночной росы. После этого своеобразного купанья, во время которого мы во все глотки заливались песнями, у меня сделалось кровохаркание от лопнувшего сосуда. Вследствие этого меня осенью снарядили на зиму во Флоренцию. Это была та поездка, о которой рассказываю в одной из глав моих «Странствий».

Когда Ливены приехали в Петербург, они жили в чудной квартире здания Дворянского банка на Адмиралтейской. Там столько прелестных вечеров за двумя фортепиано. Ливен прекрасно играл и отлично разбирал. Это был, конечно, один из самых богато одаренных людей, каких мне пришлось встретить. Совершенно удивительное сочетание несовместимых, казалось бы, способностей. Управляющий банком, администратор, человек совершенно делового склада, бывал способен накануне доклада у своего министра Витте проиграть со мной в два фортепиано до второго часа ночи. Иногда жена приходила и тушила электричество. Человек редкой художественной отзывчивости и воспламеняемости. Но не за эти минуты я ему больше всего обязан, а за то, в силу чего и его включаю в число «единомышленников». Странно, он не был мыслителем; философское мышление было ему совсем чуждо, мысль сама по себе его интересовала фактами, и факт своей нравственной стороной прямо зажигал его. Редко встречал я такую способность к негодованию, как у него.

Вот тоже отличие наших «единомышленников» от окружающего моря людей – способность к негодованию. Она не существовала в те дни, о которых говорю, или так была запугана, затоптана, что не только не высказывалась, но и не просыпалась в людях. Души были окутаны какой-то паутиной видимого благополучия. Всякое прикосновение к язвам современности почиталось непристойным. Впрочем, не знаю, почему говорю в прошедшем времени. И посейчас вижу много людей, не имеющих силы ясным взором посмотреть на прошедшее. Революция их ничему не научила, и прежнее довольство прошлым только упрочилось в них перед страшными картинами настоящего. Да, они негодуют, но на что негодуют? На то, что люди позволяют себе осуждать то, что подлежит осуждению; они возмущаются тем, что человек поднимает покров, вместо того чтобы возмущаться теми язвами, которые этот покров раскрывает. Да, и революция ничему не научила, даже негодованию, ни от чего не отучила, даже от снобизма. Какие еще нужны уроки, какие потрясения?..

Еще раз скажу, что редко встречал такую способность к негодованию, как у Саши Ливена, но принципиальная сторона этого негодования как будто ускользала от него, и формулировка принципа его даже раздражала. Помню, например, глубоко его возмущала вся наша тогдашняя инородческая политика, это непереносимое желанье из эстонцев, финляндцев и прочих инородцев сделать русских. Но когда я ему, в виде принципиальной формулы, обнимающей разрозненные случаи, вызывавшие негодование, сказал удивительное изречение Владимира Соловьева, что между *национальностью* и *национализмом* та же разница, что между *личностью* и *эгоизмом*, это ему показалось пустым набором слов; он меня даже обругал за увлечение фразой; я его обругал за бедноту мыслительных способностей, и мы пошли к нашим инструментам, сели за сюиту Аренского. Я не мог из него сделать мыслителя, а он не мог меня сделать человеком практической жизни. Но зато он мне давал много жизни. Благодаря своему служебному положению он знал всех и все, и через него и я знаю всех и все – все, что делалось и говорилось в Государственном совете, в комитете министров, все эпизоды, предшествующие и сопутствующие мероприятиям, назначениям и пр. Все это было у меня записано в тех пяти тетрадях...

Саша Ливен сильно подбивал меня принять пост директора императорских театров, если он мне будет предложен. В то время, когда зашла об этом речь, я был за границей, навещал больного брата Григория около Киля, на берегу моря. Там получил от Ливена телеграмму, в которой он предупреждал, что, запрошенный, он за меня дал утвердительный ответ. О директорстве моем говорю в одной из последующих глав; здесь только скажу, что Саша Ливен был мне в течение этих двух трудных лет верным другом и советчиком. На вто-

ром году моего директорства, зимой 1900 года, он заболел невыносимыми болями в правом локте. Его отправили в Египет, потом он переехал в Италию, в местечко Акви. У него оказался рак в спинном хребте. Недель через пять после прибытия в Италию он скончался в страшных мучениях. За несколько дней до смерти ему передали о моем выходе из дирекции театров и тех обстоятельствах, при которых он совершился. Он сказал: «Молодец Сережа, триплъ молодец».

Тело Саши Ливена привезли в Россию; я поехал встретить его в Варшаву. Похоронили его в монастыре Добрынихи, где игуменьей графиня Мария Владимировна Орлова – Давыдова. Был чудный день, из таких, какие он любил (да и кто же не любит такие дни); мы очень измучились от путешествия и долгого обряда; было прекрасное угощение после похорон, и я все время думал, как бы он наслаждался этим похоронным обедом...

Таковы люди, с которыми соприкасался душевно и умственно в большей или меньшей степени и разными сторонами своего существа. Когда подвожу равнодействующую всему лучшему, что было в нас, то встает, как венчающий купол, как свод, в устремлении к которому сливаются струи кадилые, – встает имя Владимира Соловьева.

Он был близок к моей матери. Однажды она сказала: «Я люблю Соловьева больше, чем кого бы то ни было». Тут же она спохватилась и прибавила: «То есть, конечно, я больше всего люблю вас, детей моих, но для приволья души моей никто мне не дорог, как он».

Для нас Соловьев – это была высшая истина, это было зеркало, в котором вместе с отраженьем событий преломлялся и смысл их. Рано умолк его голос. Да и когда звучал, не умели слушать его. А сколько раз Победоносцев налагал на него печать насильственного молчания!

А с другой стороны, когда он говорил, как сам себе мешал! Иногда великолепно, а иногда тянул, мялся, читал по записке, близорукий, искал, переключивал перепутанные страницы... Какие картины неудовлетворенной жажды бывали некоторые его лекции... А иной раз незабываемые. Он мог глаголом жечь сердца людей; но глагол его был или под запретом, или стеснен. Уже двадцать один год как он умолк, а почти каждый день спрашиваешь себя: что бы он сказал? Да, что бы он сказал сейчас, он, который больше двадцати лет тому назад писал:

Гонима, Русь, ты беспощадным роком,  
Как некогда неверный Валаам.  
Заграждены уста твоим пророкам,  
И слово вольное дано ослам.

Не смею говорить о Владимире Соловьеве как о философе – не моего познания дело, не могу судить и о том, в чем истинная его сила, – философ или публицист, но скажу, что среди русских публицистов, людей, занимавшихся вопросами общественно – государственными, ни один не принес на служение родине более высокого мыслительства, согретого более пламенным духом любви, чем Владимир Соловьев. И не слышу слов уже, но слышу этот голос, немного глухой, подернутый дымящей, с тем особенным, ему присущим чем-то апостольским, в оболочке ежедневной простоты. Но, несмотря на эту простоту, никогда не мог я подойти к Соловьеву так, как подходил вообще к людям. Он не был для меня физической сущностью; когда я пожимал его руку, я пожимал духовную руку. Больше, нежели одухотворенная материя, вся внешность его была материализованная духовность. Вижу удивительное его лицо, все живущее в верхней части – во лбу, в глазах. И вижу такую картину: в густой толпе, под белым сводом монастырских ворот, серебристо – черными прядями обрамленный лоб и голубой пламень глубоких глаз – на фоне золотой парчи. То было в воротах Алексан-

дро – Невской лавры; он подпирает плечом гроб Достоевского. И под этой картиной хочется подписать и к нему же отнести его же слова:

Высшую силу в себе сознавая,  
Что ж толковать о ребяческих снах?

Жизнь только подвиг, – и правда живая Светит бессмертьем в истлевших гробах.

Говоря о единомышленниках, не могу не упомянуть трех моих братьев: Петра, Александра и Владимира. В затронутых выше вопросах все чувствовали глубоко, видели ясно и судили верно – каждый по-своему и все одинаково.

Ум брата Петра проникал действия людей и побуждения их, как какая-нибудь кислота; он был язвительнокритичен; он был эксцентричен в выражении своих суждений; он кипел, шипел, свистел, и весь блеск его юмора становился союзником его негодования.

Брат Александр сжимался, морщился, был «концентричен» в своих проявлениях; в его осуждениях всегда чувствовалось – «да не судимы будете».

Брат Владимир чувствовал всей гармонией своего существа; он не судил, не осуждал – это просто было ему неприемлемо. У него это не было осуждением в силу каких-нибудь соображений – государственных, религиозных; для него вообще это не было вопросом соображения, это было простое, естественное проявление его природы. Он не принимал. Как тот контуженный, про которого я рассказываю ниже, в главе о войне, который передавал цветок товарищу, чтобы понюхал, потому что у него «не пропускает», так и у брата Володи – не пропускала его природа.

Брата моего Владимира знала вся Россия – он был вице-председателем Государственной думы при председателях Хомякове и Родзянко. Его тактом, его сдержанностью восхищались все. После одной из сессий пришли к нему в кабинет предводитель крайней правой и предводитель крайней левой: оба благодарили за беспристрастие, с каким он вел собрания. Твердость его поведения и уважение, которое он внушал, поразительны, когда принять во внимание сравнительную молодость его. Никогда не забуду мановения его руки с думской кафедры и как бурное море волнующейся залы ему повиновалось. Между прочим, помню, я был в первом заседании Думы после смерти Льва Толстого. Левые намеревались поднять скандал, правые готовились к шумному отпору. Открыв заседание и огласив заявление ораторов, желающих говорить на эту тему, брат сказал: «К могиле надо подходить со скорбью и в молчании». Послышались, на густых низких нотках, одобрительные возгласы, и, прежде чем кто-либо успел протестовать, он предложил секретарю перейти к очередным делам. Скандал не удался, а мог выйти громадный. Только после заседания брат увидел, чего он избежал: к нему подошел Пуришкевич, известный *enfant terrible* крайне правой, и со словами: «Спасибо, вот от чего вы меня избавили» – вынул из кармана автомобильный гудок. Как видно, он явился во всеоружии...

Впоследствии брат был товарищем министра внутренних дел. Он пережил их четырех или пятерых. Государь каждому новому министру говорил: «Берегите Волконского». Николай II хорошо его знал, они в детстве вместе играли; государь звал его «Володя». Но положение становилось все невыносимее. Честность должна была задохнуться или уйти. Помню, что почти за год перед тем я ему из деревни иносказательно писал: «Тебе пора переезжать: в квартире воняет, и ремонтировать нельзя»... Брат ушел. Все хорошее в нем оказалось *не нужно*. Лучшие люди целого поколения оказались не нужны...

В посмертном письме, которое она нам оставила, наша мать писала: «Тяжело положение тех, кто призван судьбой жить в переходные эпохи». Мы это испытали и продолжаем испытывать. Но я думаю, что только тот может понять все недавнее, только тот способен осознать всю роковую причинность явлений, кто пережил душой и разумом мрак восьмиде-

сятых годов. Только тот может понять, скажу более, только тот имеет право судить, кто *пере-страдал*, а кто в те времена благодумствовал, тот пусть себе желает возвращения того, что невозвратно, – того благодумия он никогда не обретет. И слава Богу, что не обретет, потому что то благодумие покоилось на незнании самых глубоких корней жизни. Только тот поймет – *откуда* и *почему*, кто пережил, почувствовал и перестрадал «переходную эпоху».

Сейчас подойдем к затронутым вопросам еще ближе, но прежде сделаем маленькое отступление.

## Глава 5

### Из чиновничьего прошлого

Я упоминал уже о том, что в конце восьмидесятых годов я начал вести заметки. Тетрадки эти, количеством пять штук, пропали, как и все, что у меня было. Но вот приехав после бегства из большевистского царства в Рим, я, к удивлению своему, нашел одну из этих тетрадей. Хочу воспользоваться находкой, чтобы прервать свой рассказ и сделать здесь вставку, которая осветит затронутые вопросы не с философской, умозрительной стороны, а с практически-житейской, и притом в легкой, почти юмористической форме. Сама по себе командировка уполномоченного Красного Креста в голодную губернию не такое уж важное событие, но вокруг нее возникают портреты, характеры, мировоззрения, и все сливается, чтобы дать картину того русла, по которому шла деятельность того, что в те времена называлось правительственной благонамеренностью. Чиновное раболепство, отсутствие собственных убеждений, заискивание путем лицемерия – все это есть плоды той коренной болезни нашей, о которой говорю: смешение принципа национального с религиозным, смешение принципа благонадежности с набожностью, принципа церковного с полицейским. Оставляю весь свой рассказ в том виде, как я тогда его написал; не меняю даже настоящего времени глаголов – это придает рассказу живость и близость сегодняшнего дня.

В ноябре 1898 года мой брат Петр получил приглашение от Главного управления Красного Креста ехать в Рязанскую и Тульскую губернии. В тот год был голод; ему поручалось обследование продовольственного положения и подача помощи населению. Приглашение мотивировалось тем, что брат близко знаком с Тульской губернией. Он действительно туда ездил предыдущим летом в качестве сотрудника некоего Клопова. Для точного воспроизведения всех условий, при которых совершилась поездка брата, и для полного изображения общественных и административных настроений необходимо два слова о Клоповской экспедиции, ибо, как сказал бы какой-нибудь герой Достоевского, отсюда все и пошло.

В октябре и ноябре не было в петербургских гостиных другого разговора, как о Клопове. Много шуму, много пыли подняла эта личная командировка государем маленького, неизвестного человека в целях выяснения, насколько донесения администрации об экономическом состоянии согласуются с действительностью. Больше всего негодования вызвало то, что командировка состоялась помимо министра внутренних дел, без предупреждения местных властей и приобретала, таким образом, внешний характер негласной ревизии.

«Сферы» заволновались. Министр юстиции Муравьев сказал, что нужно быть таким... (не повторяю), как Горемыкин, чтобы не подать в отставку. Витте, министр финансов, сказал: «Пусть только сунется в мое ведомство». По вечерам вокруг карточных столов у Сипягиных, у Александры Николаевны Нарышкиной сановники сливались в общий хор негодований; дамы, брезгливо искажая рот, спрашивали: «Что это такое Клопов... Хлопов...» – «Клопов, мадам». – «Клопов? Какой ужас!» «Клопов – это создание братьев Волконских», – сказала графиня Анастасья Федоровна Нирод (сестра известных братьев Треповых). Вероятно, это же самое повторяли другие.

Слишком, однако, большое значение придают братьям Волконским, если думают, что они способны «создать» кого-нибудь. Достоверно следующее. Анатолий Александрович Клопов, мелкий чиновник министерства путей сообщения, по специальности статистик, прекрасный знаток России, изъездивший ее вдоль и поперек, изучивший все промыслы и способный до самозабвения увлечься всяким делом, в котором чувствует биение истинной жизни, через брата Петра познакомился с великим князем Николаем Михайловичем, через него – с Александром Михайловичем, а последний устроил у себя свидание с государем. «И

представьте, – восклицали наши барыни, – какие глупости рассказывают, будто он сказал государю: «Вы, ваше величество, ничего не знаете, не можете знать».

Вовсе это не глупости. Не знаю, было ли это и как было, но кто хоть раз слышал Клопова, тот знает, что он на это совершенно способен, что он способен государя и к стене прижать и за пуговицу взять (как Песталоцци Александра I), что если он сделает разницу между государем и простым смертным, то лишь в том смысле, что он ему скажет больше, чем всякому другому, потому что он знает, что государь может больше, чем всякий другой. Результатом этих свиданий и разговоров было то, что несколько губернаторов увидели в подведомственных им губерниях незнакомого господина, разъезжающего по городам и селам, собирающего сведения в учреждениях, делающего опрос обывателям. Когда его спросили, в силу чего он действует, он вынул из кармана лист, пред которым власти молча преклонились.

В числе лиц, которых Клопов просил помочь ему, находился и брат Петя, и выпала на его долю Тульская губерния, губерния, оказавшаяся замечательной, и не тем замечательной, что в ней жил Лев Толстой, а тем, что в ней губернаторствовал губернатор Шлиппе. Кстати, по поводу Льва Толстого. Клопов был у него, долго беседовал; провожая его. Толстой сказал: «Если бы я еще верил в эти обряды, я бы и государя и вас перекрестил».

«А в те времена, – говорит Курюков в «Федоре Иоанновиче», – и меж бояр великие разрухи чинились». Великие разрухи чинились в Туле прошлым летом, и брат, что называется, попал в переделку. Администрация и земство или, вернее, часть земства резко разошлись по вопросу о голоде; земство доносило о нужде, выставляло необходимость своевременной помощи; Шлиппе же, сообщивший Сипягину при проезде из Крыма в Петербург, что все обстоит и будет обстоять благополучно, был заинтересован в том, чтобы оправдать свое предсказание. Не буду останавливаться на подробностях, скажу только, что все, что есть в губернии раблепного, жаждущего аттестации в благонамеренности или «консерватизме», сплотилось вокруг губернатора Шлиппе, чтобы дать отпор живым силам земли в лице таких людей, как Писарев, Долгорукий, Бобринский.

Большого шуму наделало открытое письмо председателя уездной земской управы графа Владимира Бобринского губернатору Шлиппе, напечатанное в «Петербургских ведомостях» у Ухтомского. В этом письме председатель уездной управы изобличает беспечность и нерадение губернатора, оставлявшего без ответа самые настоятельные донесения, письма, даже телеграммы. Письмо это, вызванное желанием Бобринского оправдаться в возведенных на него и напечатанных в «Губернских ведомостях» обвинениях, произвело необычностью своей большой переполох в петербургских «сферах»: разве может «подчиненный» печатно оправдываться, да притом путем обвинения начальства. Все спрашивали себя: что будет; выражали – одни опасение, другие надежду, что после предстоявших осенью выборов Бобринский не будет утвержден в должности; да это еще в лучшем случае, а то и суд... Государь сказал Ухтомскому: «Я надеюсь, что Бобринский будет утвержден, – такие люди нужны на местах». Увы, царские «надежды», как и царские «желания», уже мало что значат.

Припоминается мне, рассказывал Ухтомский, что представлял государю прошения сектантов о прекращении на них гонения, о возвращении отобранных детей, – государь всегда говорил, что сделает «все возможное», но время проходило, прошение не получало движения. Один семидесятилетний старик, баптист, два года тому назад высланный из Курской губернии на Кавказ, просит позволения вернуться, чтобы умереть на родине; это третье его прошение на Высочайшее имя. «И почему это, – говорится в прошении, – когда нас забирают или когда детей наших отбирают, творят это дело ночью? Дух дьявола все дела свои творит ночью... И для кого это творится, и где сидит тот человек, которому это нужно и который такие приказания отдает, – в министерстве ли, в Сенате ли, в Синоде ли?» Не похоже ли это на человека, который с ужасом спрашивает себя, кто сошел с ума – окружающий мир

или он сам. И всегда был один ответ: «Постараюсь сделать все от меня зависящее». А через несколько месяцев прошение повторялось...

Вот почему «надежды» государя на утверждение Бобринского мало кого подбадривали. Петербургские гостиные перешептывались, «сферы» глубокомысленно молчали. Все ждали. Результат: «Петербургские ведомости» получают предостережение и приостановку розничной продажи, Шлиппе получает звезду, Бобринский не утвержден. По поводу пожалованной губернатору звезды забавно отметить, что на торжественном обеде в честь губернатора Шлиппе губернский предводитель дворянства Арсеньев так закончил свой тост: «Звезда на груди вашего превосходительства да будет нашей путеводною звездой». Да, уткнуться в губернаторский пуп – вот весь горизонт многих провинциальных «деятелей»...

На такую-то жгучую почву вступил брат Петя через два – три месяца после описанных событий, уже не в качестве частного сотрудника статистика Клопова, а в качестве официального делегата от Красного Креста, по личному указу императрицы Марии Феодоровны. Шлиппе принял командировку брата как «личность» против себя; по его приезду дал ему аудиенцию в десять минут и затем ни на одном заседании Красного Креста не был. Этим ограничилось содействие губернатора уполномоченному. Все, что было искренно заинтересовано делом и не сдается личным честолюбием, соединилось вокруг брата и принесло ему навстречу весь запас сил, накопившийся под долгим давлением административного недоверия и упрямства, и свежую бодрость проснувшихся надежд.

В числе оказавших ему поддержку был и местный архиерей, преосвященный Питирим. Между прочим он обещал брату разослать подведомственному ему духовенству циркулярное приказание об оказании ему содействия. Но и он боялся выступить официально ранее, чем определится, за кем победа: циркуляр был разослан лишь три месяца после обещания. Интересно, что в самый разгар административного гонения на Бобринского архиерей печатал в «Епархиальных ведомостях» свою речь, произнесенную на освящении одной из открытых Бобринским школ, в которой выражал надежду, что плодотворная деятельность графа по народному образованию будет продолжаться и впредь на пользу населения. «Петербургские ведомости», перепечатывая речь архиерея, прибавляли: «К сожалению, пожеланиям преосвященного не суждено сбыться, так как гр.

Бобринский в должности председателя управы не был утвержден губернатором».

Немало было потрачено и юмора среди всех этих печальных, а для многих тяжелых обстоятельств. Так, например, Бобринский, жалуясь в письме к товарищу обер – прокурора Св. Синода Саблеру на то, что Шлиппе не утвердил одной ассигновки на школу, просил его «оградить дело народного образования от гонения со стороны чуждого нам по вере и народности губернатора». А иноверный губернатор, кстати сказать, отправляясь на первую ревизию, посылал вперед приказание, чтобы народ выходил его встречать с образами и хоругвями. Он просил и колокольного звона, но архиерей не разрешил.

Работа в Туле закипела, но надо было много терпения и веры, чтобы довести ее до конца. Тем временем партия пресмыкающихся, в особенности знаменитый Чернский уезд с предводителем Сухотиным во главе, соединилась вокруг «путеводной звезды». Для характеристики этих людей заимствую из дневника брата следующий эпизод. Все губернские предводители дворянства съехались в Москву ко дню открытия памятника Александру II. Князь Трубецкой, московский предводитель дворянства, должен был от лица всех говорить речь государю. Арсеньев, тульский губернский предводитель, заявил Трубецкому, что он своим дворянством не уполномочен что бы то ни было передавать, «так как тульское дворянство реформам Александра II не сочувствует». Он же позволял себе в многолюдных заседаниях предлагать и преподносить дворянские ходатайства «под соусом Александра III». Как ясно в этих словах сказывается глумительное отношение человека к тому самому, пред чем он в данную минуту считает выгодным преклоняться. Понятно, почему некоторые так настой-

чиво делят род людской на консерваторов и либералов: более естественное деление на порядочных и непорядочных было бы им слишком невыгодно.

На почве смешения принципов патриотизма и православия, политической благонадежности и церковной обрядности чиновное подхалимство дает невероятные по уродливости проявления. Вот несколько примеров. Вновь назначенный министр народного просвещения Боголепов, прошлой весной объезжая Прибалтийские губернии, в речи к Рижскому епископу выражал надежду, что представители церкви будут проводниками русского языка. Он не знал, значит, или считал более выгодным, более соответствующим данному политическому моменту – забыть, что в Писании сказано: «Шедше научите все языки», а не сказано: «Шедше научите русскому языку». Он забыл и то, очевидно, что у того же архиерея есть подведомственные ему священники из эстонцев, которые учат эстонцев по-эстонски основам православной веры, а не русской грамоте. Никогда смешение понятий не выразилось с большей ясностью формулировки, чем в появившейся недавно в «Московских ведомостях» статье за подписью «Русский» по поводу открытия в Вильно памятника Муравьеву. Усердствующий патриот предлагал увековечить память сего русификатора западной окраины медалью, на которой изобразить генерал – губернатора с крестом в руке! Тогда почему на обратной стороне не изобразить священника с нагайкой?

Директор одной из петербургских гимназий, Груздев, на публичном акте при распределении наград объявлял, что такому-то ученику определяется стипендия «не за успехи, а за благочестие и усердие в храме Божиим». Ученик продавал свечи, заправлял кадило, разносил просфоры.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.